

1. БОЛЬШОЙ ШУМ

Я сижу в своей комнате, в обиталище шума всей квартиры. Слышу, как хлопают все двери, из-за их шума я избавлен только от шагов тех, кто в них проходит, даже когда в кухне захлопывается печная заслонка, я это слышу. Отец прорывается через двери моей комнаты и проходит в волочащемся сзади халате; из печи в соседней комнате выгребают золу; Валли, выкрикивая через переднюю слово за словом, спрашивает, вычищена ли уже отцовская шляпа; чье-то шипение, которое хочет быть в дружбе со мной, только вызывает крик какого-то отвечающего голоса. Отпираемая нажимом на ручку входная дверь скрипит, как катаральное горло, затем, отворяясь, воеет женским голосом и наконец запирается с глухим, мужским толчком, который на слух бесцеремонней всего. Отец ушел, теперь начинается более легкий, более рассеянный, более безнадежный шум, возглавляемый голосами двух канареек. Я уже раньше думал об этом, канарейки напоминают мне это снова – не следует ли чуть приоткрыть дверь, проползти как змея в соседнюю комнату и так, на полу, попросить тишины у моих сестер и их гувернантки.

Перевод С. Апта

2. МОСТ

Я был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над пропастью. По эту сторону в землю вошли пальцы ног, по ту сторону – руки; я вцепился зубами в рассыпчатый суглинок. Фалды моего сюртука болтались у меня по бокам. Внизу шумел ледяной ручей, где водилась форель. Ни один турист не забредал на эту непроходимую кручу, мост еще не был обозначен на картах... Так я лежал и ждал; я поневоле должен был ждать. Не рухнув, ни один мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом.

Это случилось как-то под вечер – был ли то первый, был ли то тысячный вечер, не знаю: мои мысли шли всегда беспорядочно и всегда по кругу. Как-то под вечер летом ручей зажурчал глуше, и тут я услышал человеческие шаги! Ко мне, ко мне... Расправься, мост, послужи, брус без перил, выдержи того, кто тебе доверился. Неверность его походки смягчи незаметно, но, если он зашатается, покажи ему, на что ты способен, и, как некий горный бог, швырни его на ту сторону.

Он подошел, выстучал меня железным наконечником своей трости, затем поднял и поправил ею фалды моего сюртука. Он погрузил наконечник в мои взъерошенные волосы и долго не вынимал его оттуда, по-видимому дико озираясь по сторонам. А потом – я как раз уносился за ним в мечтах за горы и доли – он прыгнул обеими ногами на середину моего тела. Я содрогнулся от дикой боли, в полном неведении. Кто это был? Ребенок? Видение? Разбойник с большой дороги? Самоубийца? Искуситель? Разрушитель? И я стал поворачиваться, чтобы увидеть его... Мост поворачивается! Не успел я повернуться, как уже рухнул. Я рухнул и уже был изодран и проткнут заостренными голышами, которые всегда так приветливо глядели на меня из бурлящей воды.

Перевод С. Апта

3. СТУК В ВОРОТА

Это случилось в знойный летний день. По дороге к дому мы с сестрой проходили мимо запертых ворот. Не знаю, из озорства ли или по рассеянности постучала моя сестра в ворота или не стучала вовсе, а только погрозила кулаком. Дорога сворачивала влево, и в ста шагах начиналась деревня. Для нас это была совсем незнакомая деревня, но едва мы поравнялись с первым домом, как изо всех дверей высыпали люди и стали кивать нам, не то приветствуя, не то предостерегая нас. Они и сами были напуганы. Они ежились от испуга и показывали пальцами на усадьбу, мимо которой мы прошли, и толковали про стук в ворота. Хозяйева усадьбы подадут на вас жалобу, и сейчас же начнется следствие. Я был совершенно спокоен и всячески успокаивал сестру. Скорее всего, она вовсе и не стучала, а если бы и стукнула разок, так никто никоим способом не может это доказать. Я старался убедить в этом окружающих, они меня слушали, но мнение свое держали при себе. А потом заявили, что не только мою сестру, но и меня, как брата, привлекут к ответу. Я только кивал с улыбкой. Все мы смотрели в сторону усадьбы – так, видя вдалеке клубы дыма, ждешь, когда же пробьется пламя. И правда, вскоре в распахнувшиеся ворота въехали всадники. Облако пыли застлало все, только поблескивали острия длинных копий. Не успел отряд скрыться во дворе усадьбы, как, очевидно, тут же повернул назад и поскакал по направлению к нам. Я старался удалить сестру, чтобы самому уладить дело. Она противилась, не желая оставлять меня одного. Я стал уговаривать ее хотя бы переодеться, чтобы предстать перед важными господами в приличном платье.

Наконец она согласилась и отправилась домой, а до дому еще было далеко. Тут как раз подскакали всадники, и, не сходя с седел, принялись требовать мою сестру. Ее сейчас нет, робко отвечали им, но она придет немного погодя.

Всадники отнеслись к этому довольно равнодушно – им, очевидно, важнее всего было застигнуть меня. Главную роль среди них играли двое – судья, напористый молодой господин, и его тихонький помощник, отзывавшийся на фамилию Асман. Мне предложили войти в крестьянскую горницу. Медленно, покачивая головой и теребя помочи, направился я туда под суровыми взглядами прибывших господ.

Я все еще рассчитывал, что меня, горожанина, с первых же слов выделят из этой крестьянской толпы и отпустят даже с почетом. Но судья вскочил в горницу раньше моего, и не успел я переступить порог, как он встретил меня словами: «Вот кого мне жаль». При этом он явно подразумевал не нынешнее мое положение, а то, что меня ожидает. Комната скорее походила на тюремную камеру, чем на крестьянскую горницу. Пол выложен каменными плитами, стены темные и сплошь голые, только кое-где вделаны железные кольца; посередине – нечто среднее между нарами и операционным столом.

Вдохну ли я когда-нибудь иной воздух, кроме тюремного?

Вот основной вопрос, который встает перед мной, вернее, встал бы, если бы у меня была малейшая надежда на освобождение.

Перевод Н. Касаткиной

4. СОСЕД

Мое дело целиком лежит на моих плечах. Две барышни с пишущими машинками и конторскими книгами в передней, моя комната с письменным столом, денежным ящиком, столом для совещаний, мягким креслом и телефоном – вот весь мой аппарат. Его так легко обозреть, им так легко управлять. Я совсем молод, и дела у меня сами идут. Я не жалею, я не жалею.

С нового года один молодой человек без раздумий снял пустующую соседнюю квартиру, со съемом которой я, растяпа, так долго медлил. Тоже комната с передней, но, кроме того, и кухня. Комната и передняя мне не помешали бы, обе мои барышни иногда уже чувствовали чрезмерную нагрузку, – но на что мне нужна была кухня? Из-за этой заковычки я и упустил квартиру. Теперь там расположился этот молодой человек. Гаррас его фамилия. На двери табличка: «Гаррас, контора». Я навел справки, мне сказали, что это дело подобное моему. От предоставления ему кредита не то чтобы предостерегали, ведь речь шла о молодом, растущем человеке, у которого, возможно, есть будущее, однако не то чтобы и советовали предоставлять ему кредит, ибо в данный момент состояния, судя по всему, нет.

Иногда встречаю Гарраса на лестнице, по-видимому, он всегда чрезвычайно торопится, он буквально прощмыгивает мимо меня. Я его еще так и не разглядел хорошенько, ключ от конторы у него уже наготове в руке. Он мгновенно открывает дверь. Он улепетывает как хвост крысы, и я снова стою перед табличкой «Гаррас, контора», хотя читал ее уже куда чаще, чем она того заслуживает.

Ах, эти убого тонкие стены, предающие человека, честно трудящегося, а нечестного укрывающие. Мой телефон висит на стене, которая отделяет меня от соседа. Однако я отмечаю это лишь как особенно иронический факт. Даже если бы он висел на противоположной стене, в соседней квартире было бы все слышно. Я отучился называть по телефону имена клиентов. Но не требуется, разумеется, большой хитрости, чтобы угадывать эти имена по характерным, но неизбежным поворотам разговора... Иногда я от беспокойства пляшу на цыпочках с наушником вокруг аппарата и все-таки не могу предотвратить разглашения тайн.

Конечно, из-за этого мои деловые решения становятся неуверенными, мой голос нетвердым. Что делает Гаррас, когда я говорю по телефону? Если бы я захотел сильно преувеличить – а это часто приходится делать, чтобы обрести ясность, – я мог бы сказать: Гаррасу телефон не нужен, он пользуется моим, он придвинул к стенке свой диванчик и слушает, а я, когда раздается звонок, должен бежать к телефону, выслушивать желания клиента, принимать важные решения, истово уговаривать – но тем самым прежде всего поневоле давать отчет Гаррасу через стенку.

Может быть, он даже не дожидается конца разговора, а поднимается после тех слов, которые достаточно прояснили ему дело, мечется по своему обыкновению по городу и, прежде чем я повешу трубку, уже, может быть, начинает действовать против меня.

Перевод С. Апта

5. ГИБРИД

У меня есть необыкновенный зверек – полукошечка, полуягненок. Он достался мне после отца в числе прочего наследства. Но окончательно развился уже у меня, раньше он был больше ягненок, чем кошечкой. Теперь у него от того и от другого почти поровну. От кошки – морда и когти, от ягненка – размер и строение тела; от обоих глаза, они сверкают диким блеском, а также шерстка – она у него мягкая и совсем гладкая; движения – он и скачет и крадется. Когда светит солнце, он свернется клубком на подоконнике и мурлычет, а на лужке носится как бешеный, так что его и не поймаешь. От кошки он убегает, на ягненка кидается. В лунные ночи кровельный желоб – излюбленное место его прогулок. Мяукать он не умеет, к мышам у него отвращение. Он может часами подстергать добычу у курятника, но на убийство не соблазнился ни разу.

Я пою его подслащенным молоком, и это для него лучшая пища. Жадно сосет он молочко сквозь клыки хищного зверя.

Понятно, какая это забава для детишек. В воскресное утро у нас приемные часы. Я сажаю зверька к себе на колени, и меня обступает детвора со всей округи. На меня сыплются самые невероятные вопросы, на которые никто не в силах ответить: откуда взялся такой зверек, отчего он очутился у меня, были ли раньше такие зверьки и как же будет, когда он умрет, скучно ли ему одному, почему у него нет детенышей, как его зовут – и все в таком роде.

Я не считаю нужным отвечать, а попросту, без лишних объяснений показываю то, что есть. Иногда ребята приносят с собой кошек, один раз притащили даже двух ягнят, но им пришлось разочароваться – никаких родственных чувств обнаружено не было.

Зверьки спокойно оглядели друг друга – звериный их взгляд сказал, что каждый мирится с существованием другого, как с волей провидения.

У меня на коленях зверек не проявляет ни страха, ни кровожадности – прижмется ко мне и блаженствует. Он посемейному привязан к тем, кто его вырастил. Но это вовсе не какая-то особенная преданность, а попросту верное чутье животного, у которого по белу свету рассеяно бесчисленное множество свойственников, но настоящей кровной родни, должно быть, нет вовсе, и потому мы для него – священный оплот. Мне даже смешно становится, когда мой зверек начинает меня обнюхивать, вьется вокруг ног и боится хоть на миг расстаться со мной. Видно, ему мало быть ягненок и кошкой – ему хочется стать еще и собакой.

Однажды у меня выдался такой день, какие бывают у всякого, когда все в делах ползет по швам, и не видно выхода, и хочется на все махнуть рукой, и вот, полулежа в таком расположении духа у себя в качалке и держа зверька на руках, я невзначай опустил глаза и увидел, что с его косматой мордочки каплют слезы – мои или его? Неужто же эта кошка с овечьей душой наделена вдобавок человеческим честолюбием? Немного унаследовал я от отца, но этот зверек дорогого стоит.

В нем слита неумная природа кошки и ягненка, как ни различны они между собой. Потому-то ему и тесно в его шкуре. Случается, вскочит мой зверек на соседнее кресло, упрется передними лапами в мое плечо, а носом тычется мне в ухо. Кажется, будто он что-то шепчет

мне; и в самом деле, он тут же нагнется и заглянет мне в лицо, словно хочет проверить, как меня подействовало его сообщение. Ему в угоду я киваю с понимающим видом. Тогда он спрыгивает на пол и скачет вокруг меня.

Возможно, что нож мясника был бы для такого выродка избавлением. Но он – моя наследная доля, и я на эту жертву не пойду. Пусть дожидается, пока сам не испустит дух, хотя порой он и смотрит на меня разумным человеческим взглядом, призывающим поступить так, как велит мне разум.

Перевод Н. Касаткиной

6. ВОЗЗВАНИЕ

В нашем доме, в этом чудовищном доме в предместье, густонаселенной громадине, проросшей неистребимыми средневековыми руинами, сегодня, туманным ледяным зимним утром, было распространено следующее воззвание:

«Всем моим соседям по дому.

У меня есть пять детских ружей. Они висят у меня в шкафу, на каждом крючке по одному. Первое принадлежит мне, заявку на другие может подать кто пожелает. Если заявок окажется больше чем четыре, лишние должны будут принести свои собственные ружья и сложить их в моем шкафу. Ибо нужно единообразие, без единообразия мы вперед не продвинемся. Кстати сказать, все мои ружья ни для чего прочего не пригодны, механизм испорчен, затычка оторвана, только курки еще щелкают. Нетрудно будет, значит, добыть, если понадобится, добавочные ружья. Но, в сущности, на первое время мне подойдут и люди без ружей. В решающий миг мы, обладающие ружьями, поместим невооруженных в середине. Эта тактика оправдала себя в войне первых американских фермеров против индейцев, почему же ей не оправдать себя и здесь, ведь обстоятельства сходны. Можно, значит, на какой-то срок вообще отказаться от ружей, и даже эти пять ружей нужны не обязательно, но раз уж они налицо, их следует применить. Если же четверо других не захотят носить их, то пусть и не носят. Тогда я один, как вождь, буду носить ружье. Но у нас не должно быть вождя, поэтому я свое ружье сломаю или спрячу».

Это было первое воззвание. В нашем доме ни у кого нет ни времени, ни охоты читать воззвания, а тем более обдумывать. Вскоре мелкие клочки бумаги плавали в потоке грязи, который идет с чердака, получает пополнение из всех коридоров, стекает по лестнице и там борется с встречным потоком, накатывающим снизу. Но через неделю появилось второе воззвание:

«Соседи по дому!

Никто до сих пор ко мне не являлся. Я непрерывно, отлучаясь лишь из-за необходимости зарабатывать на жизнь, находился дома, а в мое отсутствие, во время которого дверь моей комнаты всегда оставалась открытой, на столе у меня лежал листок, где мог записаться каждый желающий. Никто этого не сделал».

Перевод С. Апта

7. НОВЫЕ ЛАМПЫ

Вчера я впервые был в канцеляриях дирекции. Наша ночная смена выбрала меня доверенным лицом, и, поскольку конструкция и заправка наших ламп оставляет желать лучшего, я должен был добиться там устранения этого неудобства. Мне показали кабинет, куда следует обращаться, я постучался и вошел. Хрупкий молодой человек, очень бледный, улыбнулся мне из-за большого письменного стола. Он долго, слишком долго кивал головой. Я не знал, сесть ли мне, там стояло второе кресло, но я подумал, что, может быть, не следует мне сразу садиться в свой первый приход, и потому изложил дело стоя. Но как раз этой скромностью я, по-видимому, поставил молодого человека в затруднительное положение, ибо он должен был поворачивать лицо ко мне и вверх, если не хотел переставить свое кресло, а этого он не хотел. С другой стороны, при всем желании ему не удавалось повернуть шею полностью, и потому во время моего рассказа он на полпути поднимал глаза наискось к потолку, а я произвольно тоже. Когда я кончил, он медленно встал, хлопнул меня по плечу, сказал: «Так-так, так-так», – и подтолкнул меня в соседнюю комнату, где какой-то господин с лохматой бородой явно ждал нас, ибо на его столе не было и следа какой-нибудь работы, а открытая стеклянная дверь вела в садик со множеством цветов и кустов. Маленькой, в несколько слов информации, которую молодой человек прошептал ему, хватило этому господину, чтобы понять наши многочисленные жалобы. Он тотчас встал и сказал: «Итак, дорогой!» – он запнулся, я подумал, что он хочет узнать мою фамилию, и уже открыл рот, чтобы представиться повторно, но он прервал меня: «Да, да, ладно, ладно, я тебя прекрасно знаю... итак, твоя или ваша просьба, конечно, справедлива, и я, и господа из дирекции, конечно же, понимаем это. Благо людей, поверь мне, важнее нам, чем благо производства. Да и как же иначе? Производство можно всегда наладить заново, дело только за деньгами, к черту деньги, а если человек погибнет, то погибнет именно человек, остаются вдова, дети. Ах, боже мой! Поэтому любое предложение ввести новое предохранительное устройство, новое облегчение, новое приспособление, новые удобства мы всячески приветствуем. Кто его вносит, тот наш человек. Ты, значит, оставишь нам здесь свои заявки, мы в них разберемся, если можно будет внедрить заодно еще какое-нибудь блестящее новшество, мы, конечно, не преминем это сделать, и как только все будет готово, вы получите новые лампы. А своим там внизу скажи: пока мы не превратим ваши штольни в салоны, мы здесь не успокоимся, и если вы не начнете наконец погибать в лакированных башмаках, то не успокоимся вообще. Засим всех благ!»

Перевод С. Апта

8. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАССАЖИРЫ

Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ, да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную игру, точно в калейдоскопе. «Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» не спрашивают в этих местах.

9. ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Обыкновенная история: вынести ее – обыкновенный героизм. А. должен заключить с Б. важную сделку. Он отправляется для предварительного собеседования в Г., проделывает путь туда и обратно за десять минут в один конец и хвастается дома этой особенной скоростью. На следующий день он снова отправляется в Г., на сей раз для окончательного заключения сделки. Поскольку на это потребуется предположительно много часов, А. отправляется ранним утром. Хотя все побочные обстоятельства, по крайней мере по мнению А., совершенно таковы же, как накануне, на дороге в Г. у него уходит на этот раз десять часов. Когда он, усталый, прибывает туда вечером, ему говорят, что Б., рассердившись из-за отсутствия А., полчаса назад отправился в свою деревню и они, собственно, должны были встретиться на дороге. А. советуют подождать, но А., в страхе за сделку, тотчас же уходит и спешит домой.

На сей раз он проделывает обычный путь, не обращая на это особого внимания, прямо-таки в одно мгновение. Дома он узнает, что Б. ведь приходил уже рано утром – сразу после ухода А.; он даже встретил А. в дверях, напомнил ему о сделке, но А. сказал, что ему сейчас некогда, что он сейчас куда-то спешит.

Но несмотря на это непонятное поведение А., Б. остался здесь, чтобы подождать А. Он, правда, уже не раз спрашивал, не вернулся ли А., но ещё находился наверху, в комнате А. Радуюсь, что сможет наконец поговорить с Б. и все объяснить ему, А. бежит вверх по лестнице. Он уже почти наверху, как вдруг спотыкается, растягивает себе сухожилие и, от боли теряя сознание, не в силах даже кричать, лишь скуля в темноте, он слышит, как Б. – непонятно, вдалеке или совсем рядом с ним – с яростным топотом сбегает по лестнице и окончательно исчезает.

Перевод С. Апта

10. ДОН КИХОТ

19 октября 1917: Не воображение несчастье Дона Кихота, а Санчо Панса.

20 октября 1917: Санчо Пансе, человеку в прочем ничем себя не проявившему, удалось в течение многих лет, по вечерам и ночам, при помощи большого количества рыцарских и разбойничих романов настолько отвлечь от собственной персоны своего дьявола, которому он позже дал имя Дон Кихот, что тот насвершал сумасшедших деяний без всякого удержу, однако же последние, будучи лишены предопределённого объекта, которым как раз Санчо Панса и должен был быть, не принесли никому вреда. Санчо Панса же, свободный человек, в полном душевном равновесии сопутствовал, возможно, из определённого чувства ответственности, Дону Кихоту во всех его походах и, таким образом, имел хорошее и полезное развлечение до самой смерти.

22 октября, 5 часов утра: Один из наиважнейших подвигов Дона Кихота, ещё более настойчивый, чем сражение с ветряной мельницей, – это самоубийство. Мёртвый Дон Кихот хочет убить мёртвого Дона Кихота; но для этого ему нужен хоть один живой кусочек, который он и выискивает мечом – настолько же непрерывно, насколько и безнадежно. В этом занятии кувыркаются оба мертвеца неразрывным клубком через все века.

Перевод А. Глазовой

11. МОЛЧАНИЕ СИРЕН

Доказательство того, что и недостаточные, даже ребяческие средства могут послужить для спасения.

Чтобы уберечься от сирен, Одиссей заткнул себе воском уши и велел приковать себя к мачте. Подобным образом могли, конечно, испокон веков поступать все путешественники, кроме тех, кого сирены заманивали уже издалека, но во всем мире было известно, что это нисколько не помогает. Пение сирен пронизывало все, и страсть соблазненных смахнула бы и не такие помехи, как цепи и мачта. Но об этом Одиссей не думал, хотя он, может быть, и слышал об этом, Он целиком положился на горсть воска и оковы и, невинно радуясь своему ухищрению, плыл сиренам навстречу.

Но у сирен есть оружие более страшное, чем пение, а именно – молчание. Хотя этого не случалось, но можно представить себе, что от их пения кто-то и спасся, но уж от их молчания наверняка не спасся никто. Чувству, что ты победил их собственными силами, и, как следствие этого, безудержной заносчивости не может сопротивляться ничто на земле.

И действительно, когда Одиссей приближался, эти могучие певички не пели, то ли они полагали, что такого противника можно одолеть только молчанием, то ли выражение блаженства на лице Одиссея, который ни о чем другом, кроме цепей и воска, не думал, заставило их забыть о всяком пении.

А Одиссей, если можно так выразиться, не слышал их молчания, он полагал, что они поют и только слух его защищен. Сперва он увидел было повороты их шей, их глубокое дыхание, их полные слез глаза, их полуоткрытые рты, но решил, что все это связано с ариями, которые неслышно звучат вокруг него. А вскоре все это отскользнуло от его направленного вдалеку взгляда, сирены поистине исчезли из-за его решительности, и как раз тогда, когда он был ближе всего к ним, он уже не помнил о них.

Они же – прекраснее, чем когда-либо, – вытягивались и вертелись, распускали по ветру свои страшные волосы и растопыривали выпущенные когти на скалах. Им уже не хотелось соблазнять, им хотелось только как можно дольше ловить отблеск больших глаз Одиссея.

Если бы у сирен было сознание, они были бы тогда уничтожены. А так они остались, только Одиссей ушел от них.

Есть, впрочем, одно добавление к преданию. Одиссей, говорят, был так хитроумен, так изворотлив, что сама богиня судьбы не могла

проникнуть в его душу. Может быть, он, хотя человеком умом этого не понять, действительно заметил, что сирены молчали, и только до некоторой степени корил их и богов за то мнимое пение.

Перевод С. Апта

12. СОДРУЖЕСТВО ПОДЛЕЦОВ

Было некогда содружество подлецов, то есть это были не подлецы, а обыкновенные люди. Они всегда держались вместе. Если, например, кто-то из них подловатым образом делал несчастным кого-то постороннего, не принадлежащего к их ассоциации, – то есть опять-таки ничего подлого тут не было, все делалось как обычно, как принято делать – и затем исповедовался перед содружеством, они это разбирали, выносили об этом суждение, налагали взыскание, прощали и так далее. Зла никому не желали, интересы отдельных лиц и ассоциации соблюдались строго, и исповедующемуся подыгрывали: «Что? Из-за этого ты огорчаешься? Ты же сделал то, что само собой разумелось, поступил так, как должен был поступить. Все другое было бы непонятно. Ты просто перевозбужден. Приди в себя!» Так они всегда держались вместе, даже после смерти они не выходили из содружества, а хороводом возносились на небо. В общем, полет их являл картину чистой детской невинности. Но поскольку перед небом все разбивается на свои составные части, они падали поистине каменными глыбами.

Перевод С. Апта

13. ПРОМЕТЕЙ

О Прометее существует четыре предания. По первому, он предал богов людям и был за это прикован к скале на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали его печень, по мере того как она росла.

По второму, истерзанный Прометей, спасаясь от орлов, все глубже втискивался в скалу, покуда не слился с ней вовсе.

По третьему, прошли тысячи лет, и об его измене забыли – боги забыли, орлы забыли, забыл он сам.

По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана.

Остались необъяснимые скалы... Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к необъяснимому.

Перевод С. Апта

14. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Я возвратился, я прошел через сени и оглядываюсь вокруг. Это старый двор моего отца. Лужа посередине. Старая, негодная утварь, нагроможденная как попало, закрывает путь к лестнице на чердак. Кошка притаилась на перилах. Рваная тряпка, когда-то для забавы намотанная на палку, поднимается на ветру. Я прибыл. Кто встретит меня? Кто ждет за дверью кухни? Дым идет из трубы, варят кофе для ужина. Тебе укомно, ты чувствуешь, что ты дома? Я не знаю, я очень неуверен. Это дом моего отца, но все предметы холодно соседствуют друг с другом, словно каждый занят своими делами, часть которых я забыл, а часть никогда не знал. Какая им от меня польза, что я для них, даже если я и сын своего отца, старого хуторянина? И я не осмеливаюсь постучать в дверь кухни, я только издали прислушиваюсь, так, чтобы меня не могли застать врасплох за этим занятием. И поскольку прислушиваюсь я издали, то и не могу ничего расслышать, лишь легкий бой часов слышу я – или, может быть, только думаю, что слышу, – из дней детства. Что еще происходит в кухне, это тайна сидящих там, которую они хранят от меня. Чем дольше медлишь у двери, тем более чужим становишься. А если бы сейчас кто-то открыл дверь и спросил у меня что-нибудь? Не оказался ли бы я сам подобен тому, кто хочет сохранить свою тайну?

Перевод С. Апта

15. ГОРОДСКОЙ ГЕРБ

При строительстве вавилонской башни все было сначала более или менее в порядке; порядок был даже, пожалуй, слишком большой, слишком уж много думали о дорожных указателях, переводчиках, жилье для рабочих и путях сообщения, словно впереди века спокойной работы. Тогда господствовало даже мнение, что строить нужно как можно медленнее; мнение это вовсе не нужно было так уж преувеличивать, чтобы вообще отказаться от закладки фундамента. Аргументация была такая: самое главное во всем этом предприятии – мысль построить башню, которая достанет до неба. По сравнению с этой мыслью все прочее второстепенно. Мысль эта, во всем своем величии явившись однажды, уже не может исчезнуть; пока будут на свете люди, будет и сильное желание достроить башню. В этом смысле, стало быть, не надо беспокоиться о будущем, напротив, знания человечества растут, зодчество делало успехи и будет делать успехи и дальше, работу, на которую нам нужен год, через сто лет, может быть, сделают за полгода, к тому же лучше, прочнее. Зачем же сегодня выбиваться из сил? Это имело бы смысл, только если бы можно было надеяться построить башню за время одного поколения. Но этого никоим образом нельзя было ожидать. Скорее можно было предположить, что следующее поколение с его более совершенным знанием найдет работу предыдущего поколения скверной и снесет построенное, чтобы начать заново. Такие мысли сковывали силы, и больше, чем о строительстве башни, заботились о строительстве города для рабочих. Каждое землячество хотело иметь самое лучшее жилье, из-за этого возникали споры, которые перерастали в кровавые стычки. Эти стычки не прекращались; для руководителей они были новым доводом в пользу того, что из-за отсутствия необходимой сосредоточенности башню следует строить очень медленно, а еще лучше – лишь после заключения всеобщего мира. Однако время проводило не только в стычках, в перерывах охоты украшали, чем, впрочем, вызывали новую зависть и новые стычки. Так прошло время первого поколения, но и все следующие не были иными, только росло мастерство, а с ним и воинственность. Вдобавок уже второе или третье поколение поняло бессмысленность строительства такой башни, но все были уже слишком крепко связаны друг с другом, чтобы покинуть город.

Все возникшие в этом городе предания и песни полны тоски о том предсказанном дне, когда город, пятью следующими через короткие

промежутки ударами, разрушит исполинский кулак. Поэтому-то кулак и изображен на гербе города.

Перевод С. Апта

16. ПОСЕЙДОН

Посейдон сидел за рабочим столом и подсчитывал. Управление всеми водами стоило бесконечных трудов. Он мог бы иметь сколько угодно вспомогательной рабочей силы, у него и было множество сотрудников, но, полагая, что его место очень ответственное, он сам вторично проверял все расчеты, и тут сотрудники мало чем могли ему помочь. Нельзя сказать, чтобы работа доставляла ему радость, он выполнял ее, по правде говоря, только потому, что она была возложена на него, и, нужно признаться, частенько старался получить, как он выражался, более веселую должность; но всякий раз, когда ему предлагали другую, оказывалось, что именно теперешнее место ему подходит больше всего. Да и очень трудно было подыскать что-нибудь другое, нельзя же прикрепить его к одному определенному морю; помимо того, счетная работа была бы здесь не меньше, а только мизернее, да и к тому же великий Посейдон мог занимать лишь руководящий пост. А если ему предлагали место не в воде, то от одной мысли об этом его начинало тошнить, божественное дыхание становилось неровным, бронзовая грудная клетка порывисто вздымалась. Впрочем, к его недугам относились не очень серьезно; когда вас изводит сильный мира сего, нужно даже в самом безнадежном случае притвориться, будто уступаешь ему; разумеется, о действительном снятии Посейдона с его поста никто и не помышлял, спокон веков его предназначили быть богом морей, и тут уже ничего не поделаешь.

Больше всего он сердился – ив этом крылась главная причина его недовольства своей должностью, – когда слышал, каким его себе представляют люди: будто он непрерывно разъезжает со своим трезубцем между морскими валами. А на самом деле он сидит здесь, в глубине мирового океана, и занимается расчетами; время от времени он ездит в гости к Юпитеру, и это – единственное развлечение в его однообразной жизни, хотя чаще всего он возвращается из таких поездок взбешенный. Таким образом, он морей почти не видел, разве только во время послешного восхождения на Олимп, и никогда по-настоящему не разъезжал по ним. Обычно он заявляет, что подождет с этим до конца света; тогда, вероятно, найдется спокойная минутка, и уже перед самым-самым концом, после проверки последнего расчета, можно будет быстренько проехать вокруг света.

Перевод В. Станевич

17. СОДРУЖЕСТВО

Мы пятеро друзей, мы вышли однажды друг за дружкой из одного дома, сперва вышел один и стал у дверей, затем вышел или, скорее, выскользнул из дверей с легкостью шарика ртути другой и встал неподалеку от первого, затем третий, затем четвертый, затем пятый. Наконец все мы выстроились в ряд. Люди обращали на нас внимание, показывали на нас и говорили: эти пятеро вышли сейчас из этого дома. С тех пор мы живем вместе, у нас была бы мирная жизнь, если бы то и дело не вмешивался шестой. Он не делает нам ничего худого, но он нам в тягость, это достаточно скверно; зачем он навязывается, если с ним не хотят иметь дело? Мы его не знаем и не хотим принимать его к себе. Мы, пятеро, тоже, правда, не знали друг друга, да и теперь, если угодно, не знаем, но то, что у нас пятерых допускается и терпится, это у шестого не допускается и не терпится. Кроме того, нас пять, и мы не хотим, чтобы нас было шесть. И какой вообще смысл быть непрестанно вместе, для нас, пятерых, в этом тоже нет смысла, но мы уже все равно вместе и вместе останемся, а новых объединений мы не хотим – как раз на основании своего опыта. Но как все это растолковать шестому, долгие объяснения означали бы чуть ли не принятие в наш круг, мы предпочитаем ничего не объяснять и просто не принимать его. Сколько бы он ни дулся, мы выталкиваем его локтями, но сколько бы мы ни выталкивали его, он приходит опять.

Перевод С. Апта

18. НОЧЬЮ

Погрузиться в ночь, как порою, опустив голову, погружаешься в мысли, – вот так быть всем существом погруженным в ночь. Вокруг тебя спят люди. Маленькая комедия, невинный самообман, будто они спят в домах, на прочных кроватях, под прочной крышей, вытянувшись или поджав колени на матрацах, под простынями, под одеялами; а на самом деле все они оказались вместе, как были некогда вместе, и потом опять, в пустынной местности, в лагере под открытым небом, неисчислимо множество людей, целая армия, целый народ, над ними холодное небо, под ними холодная земля, они спят там, где стояли, ничком, положив голову на локоть, спокойно дыша. А ты бодрствуешь, ты один из стражей и, чтобы увидеть другого, размахиваешь горящей головешкой, взятой из кучи хвороста рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен.

Перевод В. Станевич

19. ОТКЛОНЕННОЕ ХОДАТАЙСТВО

Наш городок лежит не у границы, какое там! До нее так далеко, что, пожалуй, никто из нашего городка там и не был, от границы нас отделяют голые горы, но также и широкие цветущие равнины. Представить себе мысленно хоть часть дороги – и то устанешь, а всю и представить себе нельзя. Встречаются по дороге и большие города, гораздо больше нашего. Можно поставить в ряд десять таких городков, как наш, да в середку втиснуть еще десять таких же городков, и все равно такого огромного и тесного города, как те, не получится. Если не заблудишься по дороге к границе, то уж в этих городах обязательно проплутаешь, а обойти их невозможно, уж очень они велики.

Но еще дальше, чем до границ, если вообще можно сравнивать такие расстояния – это все равно что сказать о трехсотлетнем старике, что он старше двухсотлетнего, – так вот, еще дальше от нашего городка до столицы. Если время от времени до нас и доходят слухи о пограничных войнах, то из столицы до нас почти ничего не доходит, – я имею в виду нас, простых граждан, потому что у государственных чиновников связь со столицей налажена превосходно: не пройдет и двух-трех месяцев, как они уже обо всем осведомлены, во всяком случае, так утверждают они.

Вот и удивительно – и я поражаюсь этому все снова и снова, – как жители нашего городка спокойно подчиняются всем распоряжениям из столицы. За много столетий они не предложили ни одной политической реформы. В столице сменялись царствующие особы, больше того, династии угасали и свергались и начинались новые, в прошлом столетии была даже разорена сама столица и основана другая, далеко от прежней, позже была разорена и она и восстановлена старая – в нашем городке от этого, в сущности, ничего не изменилось. Наше чиновничество всегда пребывало на своем посту, крупных чиновников присылали из столицы, средних чиновников – уж во всяком случае, из других городов, самых мелких брали из нашей среды, так это всегда было, и так это нас удовлетворяло. Высший чиновник у нас – это обер-инспектор по сбору налогов, у него чин полковника, и его даже величают «господин полковник». В настоящее время это старый человек, я знаю его много лет, потому что, когда я был ребенком, он уже был полковником. Вначале он сделал очень быструю карьеру, а затем она как будто затормозилась, но для нашего городка его ранг как раз подходит, чиновнику более высокого ранга жить у нас было бы даже неуместно. Когда я стараюсь мысленно представить себе нашего обер-инспектора, я всегда вижу его на веранде его дома, что на базарной площади, он сидит в кресле, откинувшись на спинку, с трубкой во рту. На крыше над ним развеивается государственный флаг, на веранде, такой просторной, что иногда там даже проводятся несложные военные учения, сушится на веревках белье. Его внучата в красивых шелковых платьях играют тут же; вниз, на базарную площадь, их не пускают, с остальными детьми им играть негоже, однако базарная площадь их привлекает, они просовывают головенки между столбиками перил, и, когда дети внизу ссорятся, они сверху тоже принимают участие в ссоре.

Итак, в нашем городе полковник – полновластный правитель. Я думаю, он еще никому не предъявлял документа, подтверждающего его права. Верно, у него такого документа и нет. Возможно, он и в самом деле обер-инспектор. Но разве этого достаточно? Разве это дает ему право распоряжаться во всех областях управления городом? Должность у него для государства очень важная, но для горожан она далеко не самая важная. Я бы даже сказал, что в нашем городе создается такое впечатление, будто люди говорят: «Ну вот, ты взял у нас все, что мы имели, возьми, пожалуйста, и нас самих в придачу». Дело в том, что он не захватил власть самовольно и он не тиран. Просто так уже издавна повелось, что обер-инспектор по сбору налогов – самый главный чиновник, и наш полковник, равно как и мы, подчиняется этой традиции.

Но хотя он живет среди нас, не чрезмерно выделяясь своим саном, все же он совсем не то, что обыкновенный горожанин. Когда к нему приходит делегация с той или иной просьбой, он возвышается, как стена на краю света. Позади него ничего нет; правда, кажется, будто где-то вдали еще шепчутся какие-то голоса, но, вероятно, это самообман, ведь на нем кончается все, во всяком случае, для нас. Надо видеть его во время таких приемов. Ребенком я однажды был там, когда делегация от горожан пришла ходатайствовать о правительственной помощи, так как целиком выгорел самый бедный городской квартал. Мой папаша, кузнец, пользуется у нас большим уважением, он был членом делегации и взял меня с собой. Тут нет ничего особенного, такое зрелище привлекает всех, в толпе даже трудно разобрать, кто, собственно, входит в делегацию; прием большей частью происходит на веранде, поэтому находятся и такие люди, что с базарной площади приставляют к веранде лестницы и, глядя сверху через перила, стараются ничего не упустить. В тот раз около четверти веранды было отведено полковнику, остальную часть заполняла толпа. Несколько солдат наблюдали за порядком и, выстроившись полукругом, охраняли полковника. В сущности, хватило бы и одного солдата, так велик у нас страх перед ними. Я точно не знаю, откуда они, во всяком случае, откуда-то издалека; все они до того похожи, что могли бы даже обойтись без военной формы. Это низкорослые, не сильные, но проворные люди; особенно примечательны их могучие челюсти, которым форменным образом тесно во рту, и беспокойно мигающие и поблескивающие глаза-щелочки. Эти их особенности отпугивают, но одновременно и привлекают детей, потому что детям все снова и снова хочется испугаться этих челюстей и этих глаз и в ужасе убежать. Такой ребячий страх не проходит, надо полагать, и у взрослых, во всяком случае, он продолжает сказываться. Правда, к этому присоединяется еще одно обстоятельство: солдаты говорят на совершенно непонятном нам языке и никак не могут усвоить наш, отсюда некая их обособленность, недоступность, что, впрочем, соответствует их характеру – такие они молчаливые, строгие и словно окаменелые; они не причиняют никакого зла в собственном смысле этого слова, и все же есть в них что-то почти невыносимо злобное. Вот, например, приходит в лавку солдат, покупает какую-нибудь ерунду и не уходит, стоит, опершись о прилавок, прислушивается к разговорам, вероятно, ничего не понимает, но вид у него такой, будто он понимает, а сам не говорит ни слова, только тупо смотрит на того, кто говорит, потом на тех, кто слушает, и не снимает руки с длинного ножа на поясе. Это отвратительно, пропадает всякая охота разговаривать, лавка пустеет, и только когда она совсем опустеет, солдат уходит. Вот потому-то, где только появятся солдаты, наш веселый народ сейчас же замолкает. Так было и в тот раз. Как при всяких торжественных случаях, полковник стоял выпрямившись и держал в обеих вытянутых вперед руках две длинные бамбуковые палки. Это старый обычай, означающий приблизительно следующее: так он опирается на закон и так закон опирается на него. Всякий у нас знает, что ждет его на веранде, и все же снова и снова испытывает трепет; и тогда даже тот, кого уполномочили говорить, никак не мог начать, он уже стоял напротив полковника, но тут мужество его оставило, и он, отнекиваясь и отговариваясь, попятился и втиснулся обратно в толпу. Другого подходящего человека, который согласился бы выступить, тоже не нашлось – правда, несколько человек вызвалось, но из числа неподходящих, – и все были в большом замешательстве. К нескольким горожанам, известным своим ораторским даром, отрядили послов. В течение всего этого времени полковник стоял, застыв в неподвижности, только при дыхании грудь его заметно вздымалась. И не то чтобы он тяжело дышал, просто он дышал чрезвычайно явственно, вроде того, как дышат лягушки, только у них это всегда так, а для него это было необычно. Я пробрался вслед за взрослыми и долго смотрел на него между двумя солдатами, пока один из них не отпихнул меня коленом. За это время тот, кому с самого начала было поручено говорить, собрался с духом и, крепко держась за двух своих сограждан, начал краткую речь. Умилительно было видеть, как во время этой серьезной речи, живописующей тяжелое бедствие, он непрестанно улыбался униженной улыбкой, напрасно пытаюсь вызвать хотя бы намек на ответную улыбку на лице полковника. Под конец он высказал просьбу; мне кажется, он просил только об освобождении от налогов в течение года, но, возможно, также и об отпуске по дешевой цене строевого леса из коронных владений. Затем он низко склонился и замер в почтительной позе, так же как и все остальные, за исключением полковника, солдат и нескольких чиновников на заднем плане. Мне, ребенку, показалось очень забавным, что люди на лестницах, приставленных к перилам веранды, спустились на две-три перекладыны, чтобы их не было видно во время этой решающей паузы, и с любопытством подглядывали, чуть приподымая иногда головы над уровнем пола веранды. По истечении некоторого времени к полковнику, пребывавшему в неподвижности, если, конечно, не считать вздымавшуюся при дыхании грудь, подошел небольшого роста чиновник; он встал на цыпочки, сясь дотянуться до полковника, тот шепнул ему что-то на ухо, чиновник хлопнул в ладоши, после чего все выпрямились, и он провозгласил:

— Просьба отклонена. Можете идти.

Толпа вздохнула с явным облегчением, все толкались, спеша уйти, сам полковник, можно сказать, снова стал человеком, таким же, как и

мы, на него никто не обращал внимания, я увидел только, как он, совершенно обессиленный, уронил на пол бамбуковые палки, затем в полном смысле слова упал на принесенное одним из чиновников кресло и поспешил сунуть в рот трубку.

Этот случай не единственный – так у нас обычно бывает. Правда, время от времени незначительные просьбы удовлетворяются, но тогда всякий раз получается так, будто полковник сделал это на собственный страх и риск, как всевластное частное лицо, и правительство ни в коем случае не должно об этом знать. Конечно, прямо это не говорится, но это само собой понятно. Ведь в нашем городке око полковника, насколько мы можем судить, – это око правительства, хотя все же тут есть и некое различие, не вполне доступное пониманию.

Но горожане могут быть уверены, что серьезная просьба всегда будет отклонена. Вот то-то и удивительно, что такой отказ нам в некотором роде необходим, и при этом делегации и отказы совсем не простая формальность. Мы снова и снова бодро и совершенно серьезно шагаем туда, а потом оттуда, разумеется, не ободренные и осчастливленные, но в то же время не разочарованные и не усталые. Мне совсем не надо узнавать это от других, я, как и все остальные, чувствую это собственным нутром, и я даже не могу сказать что мне сколько-нибудь любопытно попытаться, в чем тут дело.

Правда, насколько я могу судить по собственным наблюдениям, существует некая чисто возрастная группа недовольных, это молодежь от семнадцати до двадцати лет. То есть совсем еще юнцы, которые даже приблизительно не представляют себе, как далеко может завести самая незначительная идея, тем более революционная. И как раз в их среду и проникает недовольство.

Перевод И. Татариновой

20. К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ

Наши законы известны немногим, они – тайна маленькой кучки аристократов, которые над нами властвуют. Мы убеждены, что эти старинные законы в точности соблюдаются, но все же чрезвычайно мучительно, когда тобой управляют по законам, которых ты не знаешь. Я имею при этом в виду не различные толкования и тот ущерб, который наносится людям, когда в толковании законов участвует не весь народ, а только единицы. Может быть, этот ущерб и не так уж велик. Ведь законы идут из глубокой древности, над их толкованием люди трудились века, так что само толкование теперь обрело силу закона, и хотя возможности свободного толкования еще существуют, они уже стали весьма ограниченными. Нет никаких оснований предполагать, чтобы аристократия в угоду своим интересам допускала толкования не в нашу пользу – ведь законы и так были с самого начала установлены в пользу аристократии, они на аристократию не распространяются, потому, видимо, и отданы целиком в ее руки. Конечно, в этом есть известная доля мудрости – кто же сомневается в мудрости древних законов? – но для нас в этом есть и мука, что, вероятно, неизбежно.

Да и существование этих мнимых законов – только предположение. Лишь по традиции принято считать, что они существуют и доверены аристократии как тайна, но это всего-навсего традиционный взгляд, заслуживающий признания в силу своей древности, и ничего больше, ибо самый характер этих законов требует, чтобы их возникновение сохранялось в тайне.

Но если мы, в народе, внимательно проследим действия аристократии с древнейших времен, если мы, располагая записями наших предков по этому поводу, добросовестно их продолжим и среди бесчисленных фактов найдем как бы основные линии, позволяющие заключить о тех или иных исторических решениях, и если мы на основе этих тщательнейшим образом отобранных и систематизированных выводов попытаемся что-то установить для настоящего и будущего, то все это окажется весьма шатким, скорее, игрою ума, ибо тех законов, которые мы стараемся отгадать, быть может, вовсе и не существует. Есть маленькая партия, которая действительно так думает и пытается доказать, что если закон и существует, то он может гласить лишь одно: все, что делает аристократия, – закон. Эта партия видит только произвольные установления аристократии и отвергает народную традицию, приносящую, по мнению этой партии, лишь ничтожную и случайную пользу, а чаще всего серьезный вред, так как порождает в народе перед лицом грядущих событий ложную, обманчивую и легкомысленную уверенность. Такой вред нельзя отрицать, но подавляющее большинство нашего народа видит его причину в том, что традиция далеко не все охватывает, ее нужно исследовать гораздо глубже и даже содержащийся в ней материал, как бы он ни был огромен, все же слишком недостаточен, и должны еще пройти века, прежде чем она все охватит; унылость этих перспектив озаряется в настоящем лишь верой в такие времена, когда наконец наступит пауза, завершатся следования традиции, все станет ясно и закон будет принадлежать только народу, а аристократия исчезнет. Это говорится не с ненавистью к аристократии, отнюдь нет, и ни с чьей стороны ее нет. Скорее, ненавидим мы самих себя за то, что нам еще нельзя доверить закон. Поэтому и упомянутая партия, в известном смысле весьма соблазнительная, не верит, по сути дела, ни в какой закон и осталась такой немногочисленной, ибо она в полной мере признает аристократию и ее право на существование.

Это можно выразить с помощью своеобразного парадокса: если бы какая-нибудь партия вместе с верой в закон вышвырнула и аристократию, на ее стороне оказался бы тотчас весь народ; но такая партия не может возникнуть, ибо никто не дерзает вышвырнуть аристократию. На этом лезвии ножа мы и живем. Один писатель некогда сформулировал это следующим образом: единственный зримый, бесспорный закон, подчиняться которому мы обязаны, – это аристократия, и ради этого единственного закона мы должны утратить самих себя?

Перевод В. Станевич

21. НАБОР РЕКРУТОВ

Набор рекрутов, который часто бывает нужен из-за непрекращающихся пограничных боев, происходит следующим образом:

Издается приказ, чтобы в определенный день в определенном квартале города все жители без разбора, мужчины, женщины, дети, оставались дома. Обычно лишь к полудню у входа в этот квартал, где уже с рассвета ждет отряд солдат, пехотинцы и конники, появляется молодой дворянин, который должен провести набор. Это молодой человек, тонкий, невысокого роста, слабый, небрежно одетый, с усталыми глазами, на него то и дело нападает беспокойство, как на больного озноб. Ни на кого не глядя, он делает знак плеткой, которая составляет все его снаряжение, к нему присоединяются несколько солдат, и он входит в первый дом. Солдат, знающий

в лицо всех людей этого квартала, зачитывает список живущих в доме. Обычно все на месте, они стоят, выстроившись в ряд в комнате, не сводя глаз с дворянина, словно они уже солдаты. Случается, однако, что кто-то – всегда это только мужчины – отсутствует. Тогда никто не отваживается найти отговорку или как-то солгать, все молчат, опускают глаза, они едва выносят тяжесть приказа, который нарушили в этом доме, но немое присутствие дворянина держит всех на местах. Дворянин делает знак, это даже не кивок, это можно прочесть только по глазам, и два солдата начинают искать отсутствующего. Это не требует никаких усилий. Никогда он не бывает вне дома, никогда у него нет намерения действительно уклониться от военной службы, не явился он только от страха, но это вовсе не страх перед службой, это вообще робость перед выходом на люди, приказ для него поистине слишком велик, устрашающе велик, ему не по силам явиться самому. Но из-за этого он не убегает, он только прячется, а услышав, что дворянин в доме, сам выбирается из укрытия, пробирается к двери комнаты, и его тут же хватают выходящие оттуда солдаты. Его подводят к дворянину, который берет плетку обеими руками – он очень слаб, одной рукой ему не справиться – и сечет провинившегося. Сильной боли это не причиняет, затем он – наполовину из-за усталости, наполовину из отвращения – бросает плетку, тот, кого секут, должен поднять ее и подать ему. Лишь теперь он может стать в ряд с остальными; впрочем, почти наверняка его не признают годным. Бывает, и это случается чаще, что является больше людей, чем значится в списке. Приходит, например, посторонняя девица и разглядывает дворянина, она нездешняя, может быть, из провинции, ее приманил сюда набор рекрутов, многие женщины не могут устоять перед соблазном такого чужого набора – домашний имеет совсем другое значение. И любопытно, в этом не видят ничего позорного, если женщина поддается такому соблазну, напротив, по мнению некоторых, это нечто такое, через что женщинам надо пройти, это дань, которую они платят своему полу. И протекает все всегда по одному образцу. Девушка или женщина узнает, что где-то, может быть, очень далеко, проходит набор, она просит у своих родных разрешения поехать туда, ей разрешают, в этом нельзя отказывать, она надевает на себя самое лучшее из своей одежды, она веселее, чем обычно, притом спокойна и приветлива, независимо оттого, какого она вообще нрава, и при всем спокойствии, при всей приветливости неприступна, словно какая-то чужеземка, которая едет на родину и больше ни о чем думать не хочет. В семье, где ждут набора, ее принимают совершенно иначе, чем обыкновенную гостью, все ублажают ее, она должна обойти все комнаты дома, высунуться из всех окон, а если она положит руку кому-нибудь на голову, то это больше, чем благословение отца. Когда семья готовится к набору, приезжая получает лучшее место, место у двери, где ее лучше всего увидит дворянин и она лучше всего увидит его. Но в такой чести она только до появления дворянина, с этой минуты она прямо-таки увядает. Он так же не смотрит на нее, как на других, а если он и направит взгляд на кого-нибудь, тот чувствует, что на него не смотрят. Этого она не ожидала, вернее, она, конечно, ожидала это, ведь иначе не может быть, но и не ожидание противоположного пригнало ее сюда, а просто что-то такое, что сейчас-то уж кончилось. Стыд она испытывает в такой мере, в какой его наши женщины вообще-то, может быть, никогда не испытывают, только теперь, собственно, она замечает, что вошла в чужой набор, и когда солдат прочитывает список, где ее фамилии нет, и на миг наступает тишина, она, дрожа и ежась, выбегает за дверь и получает еще от солдата тумак вдогонку.

Если сверх комплекта оказывается мужчина, он ничего другого не желает, как тоже быть забранным в рекруты, хотя он и не из этого дома. И это тоже дело безнадежное, никогда таких сверхкомплектных не брали, и никогда ничего подобного не будет.

Перевод С. Апта

22. ЭКЗАМЕН

Я слуга, но для меня не находится работы. Я боязлив и не суюсь вперед, не суюсь даже в один ряд с другими, но это только одна причина моей незанятости, возможно также, что к моей незанятости это вообще не имеет ни малейшего отношения, главное, во всяком случае, то, что меня не зовут служить, других зовут, хотя они добивались этого не больше, чем я, или даже вообще не испытывали желания, чтобы их позвали, а у меня, по крайней мере иногда, это желание очень сильно.

Вот я и лежу на нарах в людской, гляжу на брус потолка, засыпаю, просыпаюсь и вновь засыпаю. Иногда я хожу в трактир напротив, где подают кислое пиво, иногда я от отвращения выливаю его из стакана, но потом пью опять. Я люблю там сидеть, потому что через закрытое оконце можно без риска быть обнаруженным глядеть на окна нашего дома. Там ведь мало что видят, сюда, на улицу, выходят, думаю, только окна коридоров, к тому же не тех коридоров, что ведут в господские покои. Возможно, что я и ошибаюсь, кто-то однажды, хотя я его не спрашивал, это сказал, и общее впечатление от этой стороны дома подтверждает такую догадку. Лишь изредка открывают здесь окна, и когда это случается, то делает это слуга, который затем часто, бывает, высовывается поглядеть вниз. Там, значит, коридоры, где его не могут застичь. Кстати сказать, этих слуг я не знаю, слуги, постоянно занятые наверху, спят в другом месте, не в моей комнате.

Однажды, когда я пришел в трактир, на моем наблюдательном месте уже сидел посетитель. Я не осмелился рассмотреть его и хотел сразу же в дверях повернуться и уйти. Но он подозвал меня, и оказалось, что он тоже слуга, которого я уже когда-то где-то видел, но до сих пор мне не доводилось говорить с ним.

— Почему убегаешь? Садись и пей! Я заплачу.

И я сел. Он о чем-то спрашивал меня, но я не мог ответить, я даже его вопросов не понимал. Поэтому я сказал:

— Теперь ты, наверное, жалеешь, что пригласил меня, так я уйду, – и уже стал подниматься. Но он протянул через стол руку и прижал меня к стулу.

— Остайся, – сказал он, – это же был только экзамен. Тот, кто не может ответить на вопросы, экзамен выдержал.

Перевод С. Апта

23. КОРШУН

Это был коршун, он долбил мне клювом ноги. Башмаки и чулки он уже изорвал, а теперь клевал голые ноги. Долбил неутомимо, потом несколько раз беспокойно облетал вокруг меня и снова продолжал свою работу. Мимо проходил какой-то господин, он минутку наблюдал, потом спросил, почему я это терплю.

— Я же беззащитен, — отозвался я. — Птица прилетела и начала клевать, я, конечно, старался ее отогнать, пытался даже задушить, но ведь такая тварь очень сильна. Коршун уже хотел наброситься на мое лицо, и я предпочел пожертвовать ногами. Сейчас они почти растерзаны.

— Зачем же вам терпеть эту муку? — сказал господин. — Достаточно одного выстрела — и коршуну конец.

— Только и всего? — спросил я. — Может быть, вы застрелите его?

— Охотно, — ответил господин. — Но мне нужно сходить домой и принести ружье. А вы в состоянии потерпеть еще полчаса?

— Ну, не знаю, — ответил я и постоял несколько мгновений неподвижно, словно оцепенев от боли, потом сказал: — Пожалуйста, сходите. Во всяком случае, надо попытаться...

— Хорошо, — согласился господин, — потороплюсь...

Во время этого разговора коршун спокойно слушал и смотрел то на меня, то на господина. Тут я увидел, что он все понял; он взлетел, потом резко откинулся назад, чтобы сильнее размахнуться, и, словно метальщик копья, глубоко всадил мне в рот свой клюв. Падая навзничь, я почувствовал, что свободен и что в моей крови, залившей все глубины и затопившей все берега, коршун безвозвратно захлебнулся.

Перевод В. Станевич

24. РУЛЕВОЙ

— Разве я не рулевой? — воскликнул я.

— Ты? — удивился смуглый рослый человек и провел рукой по глазам, словно желая отогнать какой-то сон.

Я стоял у штурвала, была темная ночь, над моей головой едва светил фонарь, и вот явился этот человек и хотел меня оттолкнуть. И так как я не двинулся с места, он уперся ногою мне в грудь и медленно стал валить меня наземь, а я все еще висел на спицах штурвала и, падая, дергал его во все стороны. Но тут незнакомец схватился за него, выправил, меня же отпихнул прочь. Однако я быстро опомнился, побежал к люку, который вел в помещенье команды, и стал кричать:

— Команда! Товарищи! Скорее сюда! Пришел чужак, отобрал у меня руль!

Медленно стали появляться снизу усталые мощные фигуры; пошатываясь, всходили они по трапу.

— Разве не я здесь рулевой? — спросил я.

Они кивнули, но смотрели только на незнакомца, они выстроились возле него полукругом и, когда он властно сказал: «Не мешайте мне», — собрались кучкой, кивнули мне и снова спустились по лестнице в трюм. Что за народ! Думают они о чем-нибудь или только, бессмысленно шаркая, проходят по земле?

Перевод В. Станевич

25. ВОЛЧОК

Некий философ вечно бродил там, где играли дети. Увидит мальчика с волчком и настожится. Едва волчок начнет вертеться, как философ преследует его и силится поймать. Ему было все равно, что дети шумели вокруг него и старались не допустить до их игрушки, и если ему удавалось поймать волчок, пока он вертелся, он был счастлив, но лишь одно мгновение, затем бросал его наземь и уходил. Он верил, будто достаточно познать любую малость, следовательно и вертящийся волчок, чтобы познать всеобщее. Поэтому он и не занимался большими проблемами, это казалось ему неэкономным. Если же действительно познать мельчайшую малость, то познаешь все, оттого он и интересовался лишь вертящимся волчком. Когда он видел приготовления к запуску волчка, он неизменно начинал надеяться, что теперь-то его наконец ждет удача, а если волчок уже вертелся и он, задыхаясь, бежал за ним, надежда превращалась в уверенность, но когда он наконец держал в руках глупую деревянную вертушку, ему становилось тошно, и крик детей, которого он до сих пор просто не слышал, оглушал его, гнал его прочь, и он уходил, пошатываясь, как волчок от неловких толчков погонялки.

Перевод В. Станевич

26. БАСЕНКА

— Ах, — сказала мышь, — мир становится тесней с каждым днем. Сначала он был так широк, что мне делалось страшно, я бежала дальше и была счастлива, что наконец вижу вдаль стены справа и слева, но эти длинные стены так спешат сойтись, что я уже в последней комнате, а там в углу стоит ловушка, куда я угожу.

— Тебе надо только изменить направление, — сказала кошка и съела ее.

Перевод С. Апта

27. ОТЪЕЗД

Я велел вывести свою лошадь из конюшни. Слуга не понял меня. Я сам пошел в конюшню, оседлал свою лошадь и сел на нее. Вдали я услышал звуки трубы, я спросил его, что это значит. Он ничего не знал и ничего не слышал. У ворот он задержал меня и спросил:

— Куда ты посподишь, господин?

— Не знаю, – сказал я, – только подальше отсюда, только подальше отсюда. Дальше и дальше, только так я могу достичь своей цели.

— Значит, ты знаешь свою цель? – спросил он.

— Да, – ответил я, – я же сказал: «подальше отсюда» – вот моя цель.

— У тебя нет с собой съестных припасов, – сказал он.

— Мне не нужно их, – сказал я, – путешествие мое такое долгое, что я умру с голода, если по пути ничего не достану. Никакие припасы мне не помогут. Это же, к счастью, поистине невероятное путешествие.

Перевод С. Апта

28. ЗАЩИТНИКИ

Было очень неясно, есть ли у меня защитники, я не мог узнать ничего определенного на этот счет, все лица были непроницаемы, большинство тех, кто шел мне навстречу и кого я снова и снова встречал в коридорах, ходили на старых толстых женщинах, на них были большие, покрывающие все тело передники в синюю и белую полоску, они поглаживали себе животы и тяжело поворачивались. Я не мог даже узнать, находимся ли мы в здании суда. Кое-что говорило в пользу этого, многое – против. Если отбросить все мелочи, то больше всего напоминало мне суд гуденья, которое непрерывно слышалось вдалеке, нельзя было сказать, с какой стороны оно доносилось, оно так наполняло все комнаты, что можно было подумать, что оно идет отовсюду или – еще, пожалуй, вернее, – что как раз то место, где ты оказался, и есть место этого гуденья, но это, конечно, был обман слуха, ибо оно шло издалека. Эти коридоры, узкие, перекрытые простыми сводами, плавно поворачивающиеся, с высокими, скупо украшенными дверями, были, казалось, даже созданы для глубокой тишины, это были коридоры музея или библиотеки. Но если это не был суд, почему я справлялся насчет защитника? Потому что я всегда искал защитника, везде он нужен, в суде нужда в нем даже меньше, чем где-либо, ибо суд выносит приговор, надо полагать, по закону. Если считать, что это делается несправедливо и опрометчиво, то ведь и жить невозможно, суду надо доверять, надо верить, что он подчиняется величественной воле закона, ибо это единственная его задача, а в самом законе уже заключены обвинение, защита и приговор, и самовольное человеческое вмешательство было бы тут кощунством. Но с составом преступления, за которое выносятся приговор, дело обстоит иначе, оно определяется на основании сведений, собранных в разных местах, у родственников и посторонних, у друзей и врагов, в семье и у представителей общественности, в городе и в деревне, словом, везде. Тут крайне необходимо иметь защитников, множество защитников, лучших защитников, чтобы стояли вплотную живой стеной, ибо защитники по природе своей малоподвижны, а обвинители, эти хитрые лисы, эти проворные белки, эти невидимые мышки, проскальзывают через любые щелки, прошмыгивают между ногами защитников. Значит, гляди в оба! Поэтому я здесь, я собираю защитников. Но я еще ни одного не нашел, только эти старые женщины приходят и уходят то и дело; если бы я не был занят поисками, это меня усыпило бы. Я попал не туда, к сожалению, я не могу отделаться от впечатления, что я попал не туда. Мне следовало бы быть там, где сходятся разного рода люди, из разных мест, из всех сословий, всяких профессий, разного возраста, мне следовало бы иметь возможность осторожно выбрать из толпы нужных, расположенных, внимательных ко мне людей. Больше всего для этого подошла бы, может быть, большая ярмарка. Вместо этого я слоняюсь по этим коридорам, где видны лишь эти старухи, да и то в малом числе, и все время одни и те же, и даже этих немногих мне не удается, несмотря на их медлительность, задержать, они ускользают от меня, уплывают, как тучи, они целиком поглощены неведомыми делами. Почему же я вслепую вбегаю в какой-то дом, не читаю надписи над входом, сразу оказываюсь в коридорах, обосновываюсь здесь с таким упорством, что уже и не помню, чтобы я когда-либо стоял перед домом, когда-либо взбегал по его лестницам? Но назад мне хода нет, такая потеря времени, такое признание, что я попал не туда, мне были бы невыносимы. Что? Среди этой короткой, торопливой, сопровождаемой нетерпеливым гуденьем побегать по лестнице вниз? Это невозможно. Отмеренное тебе время так коротко, что, потеряв секунду, ты уже теряешь всю свою жизнь, ибо она не длиннее, она всегда длится лишь столько же, сколько то время, которое ты теряешь. Значит, если ты начал путь, то продолжай его, при всех обстоятельствах ты можешь только выиграть, ты ничем не рискуешь, может быть, ты в конце концов сломаешь себе шею, но если бы ты уже после первых шагов повернулся и побежал вниз по лестнице, ты, может быть, сломал бы себе шею уже в самом начале, и не «может быть», а несомненно. Значит, если ты ничего не найдешь здесь в коридорах, открывая двери, если ничего не найдешь за этими дверями, то ведь есть новые этажи, если ничего не найдешь наверху, лети выше по новым лестницам. Пока ты не перестанешь подниматься, ступеньки не прекратятся, они будут расти ввысь под твоими поднимающимися ногами.

Перевод С. Апта

29. СУПРУЖЕСКАЯ ЧЕТА

Общее положение дел столь скверно, что иногда, выкраивая время, в конторе я сам беру сумку с образцами, чтобы лично навестить заказчиков. Среди прочего я уже давно собирался сходить к Н., с кем прежде находился в постоянной деловой связи, которая, однако, за последний год по неведомым мне причинам почти распалась. Для таких преткновений вовсе и не нужно существенных причин; при нынешних неустойчивых обстоятельствах дело часто решает какой-нибудь пустяк, чье-то настроение, и точно так же какой-нибудь пустяк, какое-то слово может все привести снова в порядок. Но проникнуть к Н. не совсем просто; он старый человек, в последнее время сильно прихварывает и, хотя он еще держит в своих руках все дела, сам в конторе почти не бывает; чтобы поговорить с ним, надо сходить к нему домой, а такой деловой поход стараешься отложить.

Но вчера вечером после шести я все-таки отправился в путь; время было, правда, не гостевое, но ведь смотреть на дело следовало не со светской, а с коммерческой стороны. Мне повезло. Н. был дома, он только что, как мне сказали в прихожей, вернулся с женой с прогулки и сейчас находился в комнате своего сына, который был нездоров и лежал в постели. Меня пригласили тоже пройти туда; сперва я заколебался, но потом желание поскорее закончить неприятный визит победило, и меня, в том виде, в каком я был, в пальто, шляпе и с сумкой с образцами в руке, провели через какую-то темную комнату в тускло освещенную, где собралась небольшая компания.

Инстинктивно, по-видимому, взгляд мой упал сперва на одного слишком хорошо мне знакомого агента торговой фирмы, который отчасти мой конкурент. Он уселся у самой постели больного, так, словно был врачом; могущественно восседал он в своем красивом, распахнутом, вспучившемся пальто; его нахальство бесподобно; что-то похожее думал, возможно, и больной, который, лежа с лихорадочным румянцем на щеках, на него иногда поглядывал. Он, кстати сказать, не так молод, сын Н., это человек моего возраста с короткой окладистой бородой, несколько неухоженной из-за болезни. Старик Н., рослый, широкоплечий, но из-за своего изнуряющего недуга изрядно, к моему удивлению, похудевший, согнувшийся и потерявший уверенность, еще стоял, как вошел, в шубе и что-то бормотал сыну. Жена его, маленькая и хрупкая, но крайне деятельная, хотя лишь постольку, поскольку это касалось его, — нас она почти не замечала — была занята сниманием с него шубы, что вследствие разницы в их росте доставляло некоторые затруднения, но в конце концов удалось. Может быть, впрочем, действительное затруднение состояло в том, что Н. был очень нетерпелив и все время беспокойно искал руками кресло, каковое жена, когда сняла с него шубу, быстро придвинула. Сама же взяла шубу, под которой почти скрылась, и унесла ее.

Теперь наконец, показалось мне, пришло мое время, вернее, не пришло и никогда, наверное, здесь не придет; если я вообще хотел еще что-то попробовать сделать, это должно было случиться сейчас, ибо я чувствовал, что условия для деловых переговоров могут здесь только ухудшаться и ухудшаться; а усаживаться здесь навсегда, как намеревался, по-видимому, поступить этот агент, было не в моем вкусе; с ним, кстати сказать, я совершенно не собирался считаться. Поэтому я сразу стал излагать свое дело, хоть и видел, что Н. хотелось сейчас поговорить с сыном. К сожалению, у меня есть привычка, когда я, говоря что-нибудь, разволнуюсь, — а это случилось очень скоро и случилось в этой комнате больного раньше обычного, — вставать с места и во время речи прохаживаться по комнате. Как ни удобна такая манера в собственной конторе, в чужой квартире это все же немного обременительно. Ноя не мог совладать с собой, особенно без привычной папиросы. Что ж, у каждого свои дурные привычки, мои еще достохвальны по сравнению с привычками этого агента. Что можно сказать, например, по поводу того, что свою шляпу, которую держит на колене и медленно передвигает там взад-вперед, он иногда вдруг, совершенно неожиданно, надевает на голову? Он, правда, тут же снимает ее, словно это случилось нечаянно, но все-таки какое-то мгновение она находится у него на голове, и время от времени он повторяет это снова и снова. Такое поведение, право же, можно назвать непозволительным. Мне-то это не мешает, я прохаживаюсь, я целиком поглощен своими делами и не замечая его, но ведь, наверно, есть люди, которых этот фокус со шляпой может совершенно вывести из себя. Впрочем, разгорячившись, я не обращаю внимания не только на эту помеху, но и вообще ни на кого, я, правда, вижу, что происходит, но, пока не кончил или пока не слышу прямо-таки возражений, как бы не принимаю этого к сведению. Так, например, я прекрасно видел, что Н. способен мало что воспринять; держа руки на подлокотниках, он неудобно вертелся так и сяк, смотрел не на меня, а бессмысленно-ищуще в пустоту, и лицо его казалось таким безучастным, словно ни звуки моей речи, ни даже чувство моего присутствия не проникали к нему. Видя все это болезненное, дающее мне мало надежд поведение, я тем не менее продолжал говорить, как если бы у меня была еще возможность своей речью, своими выгодными предложениями — я сам пугался уступок, на которые шел, хотя их никто не требовал, — все в конце концов привести в равновесие. Известное удовлетворение испытывал я и от того, что агент, как я мельком заметил, наконец оставил свою шляпу в покое и скрестил на груди руки; мои заявления, рассчитанные отчасти на него, нанесли, казалось, его планам чувствительный удар. И на радостях я бы, может быть, еще долго продолжал говорить, если бы сын, которым я до сих пор, как лицом для меня второстепенным, пренебрегал, вдруг не приподнялся с постели и не заставил меня, подняв кулак, замолчать. Он явно хотел еще что-то сказать, что-то показать, но у него не хватило сил. Я принял все это за лихорадочный бред, но вскоре, невольно взглянув на старика Н., понял, в чем дело.

Н. сидел с открытыми, остекленевшими, выпученными, только на миг еще зрячими глазами, наклонившись вперед и дрожа, словно кто-то держал его или бил по затылку, нижняя губа, да и вся нижняя челюсть с широко обнажившейся десной, непослушно отвисла, все лицо как-то распалось; он еще дышал, хотя и тяжело, но потом, как бы освободившись, откинулся к спинке кресла, закрыл глаза, на лице его еще мелькнуло выражение какого-то большого усилия, и затем все кончилось. Я подскочил к нему, схватил безжизненно повисшую, холодную, ужаснувшую меня руку; пульса не было. Итак, все. Кончено, старик. Нам бы умирать не тяжелее. Но сколько всего надо было сейчас сделать! И что в этой спешке прежде всего? Я огляделся, ища помощи; но сын натянул одеяло на голову, слышно было его бесконечное всхлипывание; агент, холодный, как лягушка, засел в своем кресле, в двух шагах напротив Н., явно решив ничего не делать, просто переждать; оставался, значит, я, только я, чтобы что-то сделать, а сейчас сделать самое трудное — каким-то сносным способом, то есть способом, которого не существовало на свете, оповестить жену. И уже я услышал старательные, шаркающие шаги из соседней комнаты.

Она принесла — все еще в уличной одежде, она еще не успела переодеться — согретую на печи ночную рубашку, которую хотела надеть сейчас на мужа.

— Он уснул, — сказала она, улыбнувшись и покачав головой, когда застала у нас такую тишину. И с бесконечной доверчивостью невинного она взяла ту же руку, которую я только что с отвращением и робостью держал в своей, поцеловала ее словно в маленькой брачной игре, и — каково нам троим было смотреть на это! — Н. пошевелился, громко зевнул, позволил надеть на себя рубаху, с досадливо-ироническим видом выслушал нежные упреки жены за переутомление во время слишком большой прогулки и, чтобы объяснить свою дремоту иначе, сказал, как ни странно, что-то насчет скуки. Затем, дабы не простудиться по дороге в другую комнату, он на время лег в постель к сыну; голова его была уложена у ног сына на две поспешно принесенные женою подушки. После того, что произошло раньше, я уже не нашел в этом ничего особенного. Затем он потребовал вечернюю газету, взял ее, не обращая внимания на гостей, но не читал, а только просматривал, говоря при этом с поразительной деловой пронизательностью довольно неприятные вещи о наших предложениях, непрестанно делая пренебрежительные движения свободной рукой и намекая щелканьем языка на скверный запах, который вызывает у него во рту наша манера вести дела. Агент не смог удержаться от того, чтобы не отпустить несколько неуместных замечаний, на свой грубый лад, он, видимо, даже чувствовал, что после случившегося все надо как-то уравновесить, но, конечно, его способ менее всего годился для этого. Я быстро простился, я был почти благодарен агенту; без его присутствия у меня не хватило бы решимости уже уйти.

В передней я еще встретил госпожу Н. При виде ее жалкой фигурки я сказал ей в задумчивости, что она немного напоминает мне мою мать. И поскольку она промолчала, я добавил:

— Что бы ни говорили по этому поводу, она могла творить чудеса. Все, что мы портили, она приводила в порядок. Я потерял ее еще в детстве.

Я нарочно говорил чрезмерно медленно и отчетливо, ибо полагаю, что эта старая женщина туга на ухо. Но она была, по-видимому, глуха, ибо спросила без перехода:

— А внешний вид моего мужа?

По нескольким ее прощальным словам я, кстати сказать, понял, что она спутала меня с агентом; мне хотелось думать, что иначе она была бы доверчивее.

Затем я по лестнице сошел вниз. Спускаться оказалось труднее, чем прежде подниматься, а ведь и подъем-то не был легок. Ах, какие бывают неудачные деловые походы, а надо нести свое бремя дальше.

Перевод С. Апта

30. КОММЕНТАРИЙ (НЕ НАДЕЙСЯ!)

Было очень раннее утро, улицы были чисты и пустыны, я шел на вокзал. Свернув свои часы с башенными, я увидел, что время сейчас гораздо более позднее, чем я думал, мне нужно было очень спешить, ужас от этого открытия сделал меня неуверенным в пути, я еще неважно ориентировался в этом городе, к счастью, поблизости оказался полицейский, я подбежал к нему и, запыхавшись, спросил, как пройти на вокзал. Он улыбнулся и сказал:

— У меня ты хочешь узнать дорогу?

— Да, — сказала я, — потому что сам не могу найти ее.

— Не надейся, не надейся! — сказал он и размашисто отвернулся, как это делают люди, которые хотят быть наедине со своим смехом.

Перевод С. Апта

31. О ПРИТЧАХ

Многие сетуют на то, что слова мудрецов — это каждый раз всего лишь притчи, но неприменимые в обыденной жизни, а у нас только она и есть. Когда мудрец говорит: «Перейди туда», — он не имеет в виду некоего перехода на другую сторону, каковой еще можно выполнить, если результат стоит того, нет, он имеет в виду какое-то мифическое «там», которого мы не знаем, определить которое точнее и он не в силах и которое здесь нам, стало быть, ничем не может помочь. Все эти притчи только и означают, в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако, совсем над другим.

В ответ на это один сказал: «Почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами стали бы притчами и тем самым освободились бы от каждодневных усилий».

Другой сказал: «Готов поспорить, что и это притча».

Первый сказал: «Ты выиграл».

Второй сказал: «Но, к сожалению, только в притче».

Первый сказал: «Нет, в действительности; в притче ты проиграл».

Перевод С. Апта

ERZÄHLUNGEN

1. GROSSER LARM

Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Larms der ganzen Wohnung. Alle Turen hore ich schlagen, durch ihren Larm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufenden erspart, noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche hore ich. Der Vater durchbricht die Turen meines Zimmers und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch, aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt, Valli fragt, durch das Vorzimmer Wort für Wort rufend, ob des Vaters Hut schon geputzt ist, ein Zischen, das mir befreundet sein will, erhebt noch das Geschrei einer antwortenden Stimme. Die Wohnungstüre wird aufgeklinkt und larmt, wie aus katarrhalischem Hals, öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem dumpfen, mannlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhort. Der Vater ist weg, jetzt beginnt der zartere, zerstreutere, hoffnungslosere Larm, von den Stimmen der zwei Kanarienvogel angeführt. Schon früher dachte ich daran, bei den Kanarienvogeln fällt es mir von neuem ein, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine Schwestern und ihr Fraulein um Ruhe bitten sollte.

2. DIE BRUCKE

Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich, diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt, in brockelndem Lehm hatte ich mich festgebissen. Die Schoße meines Rockes wehten zu meinen Seiten. In der Tiefe larmte der eisige Forellenbach. Kein Tourist verirrt sich zu dieser unwegsamen Höhe, die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet. So lag ich und wartete; ich mußte warten; ohne abzusturzen kann keine einmal errichtete Brücke aufhören Brücke zu sein. Einmal gegen Abend, war es der erste, war es der tausendste, ich weiß nicht, meine Gedanken gingen immer in einem Wirrwarr, und immer immer in der Runde-gegen Abend im Sommer, dunkler rauschte der Bach, hörte ich einen Mannesschritt. Zu mir, zu mir. Strecke Dich Brücke, setze Dich in Stand, gelandloser Balken, halte den Dir Anvertrauten, die Unsicherheiten seines Schrittes gleiche unmerklich aus, schwankt er aber, dann gib Dich zu erkennen und wie ein Berggott schleudere ihn ans Land. Er kam, mit der Eisenspitze seines Stockes beklopfte er mich, dann hob er mit ihr meine Rockschoße und ordnete sie auf mir, in mein buschiges Haar fuhr er mit der Spitze und ließ sie, wahrscheinlich weit umherblickend, lange drin liegen. Dann aber gerade traumte ich ihm über Berg und Tal-sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den Leib. Ich erschauerte in wildem Schmerz, ganzlich unwissend. Wer war es? Ein Kind? Ein Turner? Ein Waghalsiger? Ein Selbstmörder? Ein Versucher? Ein Vernichter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. Brücke dreht sich um! Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon, ich stürzte und war schon zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kieselsteinen, die mich so friedlich immer angestarrt hatten aus dem rasenden Wasser.

3. DER SCHLAG ANS HOFTOR

Es war im Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder aus Zerstreuung oder drohte sie nur mit der Faust und schlug gar nicht. Hundert Schritte weiter an der nach links sich wendenden Landstraße begann das Dorf. Wir kannten es nicht, aber gleich nach dem ersten Haus kamen Leute hervor und winkten uns, freundschaftlich oder warnend, selbst erschrocken, gebückt vor Schrecken. Sie zeigten nach dem Hof, an dem wir vorbeigekommen waren, und erinnerten uns an den Schlag ans Tor. Die Hofbesitzer werden uns verklagen, gleich werde die Untersuchung beginnen. Ich war sehr ruhig und beruhigte auch meine Schwester. Sie hatte den Schlag wahrscheinlich gar nicht getan, und hatte sie ihn getan, so wird deswegen nirgends auf der Welt ein Beweis geführt. Ich suchte das auch den Leuten um uns begreiflich zu machen, sie horten mich an, enthielten sich aber eines Urteils. Später sagten sie, nicht nur meine Schwester, auch ich als Bruder werde angeklagt werden. Ich nickte lachend. Alle blickten wir zum Hofe zurück, wie man eine ferne Rauchwolke beobachtet und auf die Flamme wartet. Und wirklich, bald sahen wir Reiter ins weit offene Hoftor einreiten. Staub erhob sich, verhüllte alles, nur die Spitzen der hohen Lanzen blinkten. Und kaum war die Truppe im Hof verschwunden, schien sie gleich die Pferde gewendet zu haben und war auf dem Wege zu uns. Ich drängte meine Schwester fort, ich werde alles allein ins Reine bringen. Sie weigerte sich, mich allein zu lassen. Ich sagte, sie solle sich aber wenigstens umkleiden, um in einem besseren Kleid vor die Herren zu treten. Endlich folgte sie und machte sich auf den langen Weg nach Hause. Schon waren die Reiter bei uns, noch von den Pferden herab fragten sie nach meiner Schwester. Sie ist augenblicklich nicht hier, wurde angstlich geantwortet, werde aber später kommen. Die Antwort wurde fast gleichgültig aufgenommen; wichtig schien vor allem, daß sie mich gefunden hatten. Es waren hauptsächlich zwei Herren, der Richter, ein junger, lebhafter Mann, und sein stiller Gehilfe, der A?mann genannt wurde. Ich wurde aufgefordert in die Bauernstube einzutreten. Langsam, den Kopf wiegend, an den Hosenträgern ruckend, setzte ich mich unter den scharfen Blicken der Herren in Gang. Noch glaubte ich fast, ein Wort werde genügen, um mich, den Stadter, sogar noch unter Ehren, aus diesem Bauernvolk zu befreien. Aber als ich die Schwelle der Stube überschritten hatte, sagte der Richter, der vorgespungen war und mich schon erwartete: »Dieser Mann tut mir leid.« Es war aber über allem Zweifel, daß er damit nicht meinen gegenwärtigen Zustand meinte, sondern das, was mit mir geschehen wurde. Die Stube sah einer Gefangniszelle ähnlicher als einer Bauernstube. Große Steinfliesen, dunkel, ganz kahle Wand, irgendwo eingemauert ein eiserner Ring, in der Mitte etwas, das halb Pritsche, halb Operationstisch war.

Konnte ich noch andere Luft schmecken als die des Gefangnisses? Das ist die große Frage oder vielmehr, sie wäre es, wenn ich noch Aussicht auf Entlassung hatte.

4. DER NACHBAR

Mein Geschäft ruht ganz auf meinen Schultern. Zwei Fraulein mit Schreibmaschinen und Geschäftsbuchern im Vorzimmer, mein Zimmer mit Schreibtisch, Kasse, Beratungstisch, Klubsessel und Telephon, das ist mein ganzer Arbeitsapparat. So einfach zu überblicken, so leicht zu führen. Ich bin ganz jung und die Geschäfte rollen vor mir her. Ich klage nicht, ich klage nicht.

Seit Neujahr hat ein junger Mann die kleine, leerstehende Nebenwohnung, die ich ungeschickterweise so lange zu mieten gezögert habe, frischweg gemietet. Auch ein Zimmer mit Vorzimmer, außerdem aber noch eine Küche. – Zimmer und Vorzimmer hatte ich wohl brauchen können – meine zwei Fraulein fühlten sich schon manchmal überlastet -, aber wozu hatte mir die Küche gedient? Dieses kleinliche Bedenken war daran schuld, daß ich mir die Wohnung habe nehmen lassen. Nun sitzt dort dieser junge Mann. Harras heißt er. Was er dort eigentlich macht, weiß ich nicht. Auf der Tür steht: »Harras, Bureau«. Ich habe Erkundigungen eingezogen, man hat mir mitgeteilt, es sei ein Geschäft ähnlich dem meinigen. Vor Kreditgewährung könne man nicht geradezu warnen, denn es handle sich doch um einen jungen, aufstrebenden Mann, dessen Sache vielleicht Zukunft habe, doch könne man zum Kredit nicht geradezu raten, denn gegenwärtig sei allem Anschein nach kein Vermögen vorhanden. Die übliche Auskunft, die man gibt, wenn man nichts weiß?.

Manchmal treffe ich Harras auf der Treppe, er muß es immer außerordentlich eilig haben, er huscht formlich an mir vorüber. Genau gesehen habe ich ihn noch gar nicht, den Büroschlüssel hat er schon vorbereitet in der Hand. Im Augenblick hat er die Tür geöffnet. Wie der Schwanz einer Ratte ist er hineingeglitten und ich stehe wieder vor der Tafel 'Harras, Bureau', die ich schon viel öfter gelesen habe, als sie es verdient.

Die elend dünnen Wände, die den ehrlich tätigen Mann verraten den Unehrliehen aber decken. Mein Telephon ist an der Zimmerwand angebracht, die mich von meinem Nachbar trennt. Doch hebe ich das bloß als besonders ironische Tatsache hervor.

Selbst wenn es an der entgegengesetzten Wand hänge, würde man in der Nebenwohnung alles hören. Ich habe mir abgewöhnt, den Namen der Kunden beim Telephon zu nennen. Aber es gehört natürlich nicht viel Schlaueit dazu, aus charakteristischen, aber unvermeidlichen Wendungen des Gesprächs die Namen zu erraten. – Manchmal umtanze ich, die Hornmuschel am Ohr, von Unruhe gestachelt, auf den Fußspitzen den Apparat und kann es doch nicht verhüten, daß Geheimnisse preisgegeben werden.

Natürlich werden dadurch meine geschäftlichen Entscheidungen unsicher, meine Stimme zittrig. Was macht Harras, während ich telefoniere? Wollte ich sehr übertreiben – aber das muß man oft, um sich Klarheit zu verschaffen -, so konnte ich sagen: Harras braucht kein Telephon, er benutzt meines, er hat sein Kanapee an die Wand gerückt und horcht, ich dagegen muß, wenn gelautet wird, zum Telephon laufen, die Wünsche des Kunden entgegennehmen, schwerwiegende Entschlüsse fassen, groß angelegte Überredungen ausführen – vor allem aber während des Ganzen unwillkürlich durch die Zimmerwand Harras Bericht erstatten.

Vielleicht wartet er gar nicht das Ende des Gespräches ab, sondern erhebt sich nach der Gesprächsstelle, die ihn über den Fall genügend aufgeklärt hat, huscht nach seiner Gewohnheit durch die Stadt und, ehe ich die Hornmuschel aufgehängt habe, ist er vielleicht schon daran, mir entgegenzuarbeiten.

5. EINE KREUZUNG

Ich habe ein eigentümliches Tier, halb Katzchen, halb Lamm. Es ist ein Erbstück aus meines Vaters Besitz. Entwickelt hat es sich aber doch erst in meiner Zeit, früher war es viel mehr Lamm als Katzchen. Jetzt aber hat es von beiden wohl gleich viel. Von der Katze Kopf und Krallen, vom Lamm Größe und Gestalt; von beiden die Augen, die flackernd und wild sind, das Fellhaar, das weich ist und knapp anliegt, die Bewegungen, die sowohl Hupfen als Schleichen sind. Im Sonnenschein auf dem Fensterbrett macht es sich rund und schnurrt, auf der Wiese läuft es wie toll und ist kaum einzufangen. Vor Katzen flieht es, Lammern will es anfallen. In der Mondnacht ist die Dachtraufe sein liebster Weg: Miauen kann es nicht und vor Ratten hat es Abscheu. Neben dem Hühnerstall kann es stundenlang auf der Lauer liegen, doch hat es noch niemals eine Mordgelegenheit ausgenutzt.

Ich nahre es mit süßer Milch, sie bekommt ihm bestens. In langen Zügen saugte es sie über seine Raubtierzähne hinweg in sich ein. Natürlich ist es ein großes Schauspiel für Kinder. Sonntag Vormittag ist Besuchsstunde. Ich habe das Tierchen auf dem Schoß und die Kinder der ganzen Nachbarschaft stehen um mich herum.

Da werden die wunderbarsten Fragen gestellt, die kein Mensch beantworten kann: Warum es nur ein solches Tier gibt, warum gerade ich es habe, ob es vor ihm schon ein solches Tier gegeben hat und wie es nach seinem Tode sein wird, ob es sich einsam fühlt, warum es keine Jungen hat, wie es heißt und so weiter.

Ich gebe mir keine Mühe zu antworten, sondern begnüge mich ohne weitere Erklärungen damit, das zu zeigen, was ich habe. Manchmal bringen die Kinder Katzen mit, einmal haben sie sogar zwei Lammern gebracht. Es kam aber entgegen ihren Erwartungen zu keinen Erkennungsszenen. Die Tiere sahen einander ruhig aus Tieraugen an und nahmen offenbar ihr Dasein als göttliche Tatsache gegenseitig hin.

In meinem Schoß kennt das Tier weder Angst noch Verfolgungslust. An mich angeschmiegt, fühlt es sich am wohlsten. Es halt zur Familie, die es aufgezogen hat. Es ist das wohl nicht irgendeine außergewöhnliche Treue, sondern der richtige Instinkt eines Tieres, das auf der Erde zwar unzählige Verschwägerter, aber vielleicht keinen einzigen Blutsverwandten hat und dem deshalb der Schutz, den es bei uns gefunden hat, heilig ist.

Manchmal muß ich lachen, wenn es mich umschnuppert, zwischen den Beinen sich durchwindet und gar nicht von mir zu trennen ist. Nicht genug damit, daß es Lamm und Katze ist, will es fast auch noch ein Hund sein. – Einmal als ich, wie es ja jedem geschehen kann, in meinen Geschäften und allem, was damit zusammenhängt, keinen Ausweg mehr finden konnte, alles verfallen lassen wollte und in solcher Verfassung zu Hause im Schaukelstuhl lag, das Tier auf dem Schoß, da tropften, als ich zufällig einmal hinuntersah, von seinen riesenhaften Barthaaren Tränen. – Waren es meine, waren es seine? – Hatte diese Katze mit Lammesseele auch Menschenehrgeiz? – Ich habe nicht viel von meinem Vater geerbt, dieses Erbstück aber kann sich sehen lassen.

Es hat beiderlei Unruhe in sich, die von der Katze und die vom Lamm, so verschiedenartig sie sind. Darum ist ihm seine Haut zu eng. – Manchmal springt es auf den Sessel neben mir, stemmt sich mit den Vorderbeinen an meine Schulter und halt seine Schnauze an mein Ohr. Es ist, als sagte es mir etwas, und tatsächlich beugt es sich dann vor und blickt mir ins Gesicht, um den Eindruck zu beobachten, den die Mitteilung auf mich gemacht hat. Und um gefällig zu sein, tue ich, als hätte ich etwas verstanden, und nicke. – Dann springt es hinunter auf den Boden und tanzelt umher.

Vielleicht wäre für dieses Tier das Messer des Fleischers eine Erlösung, die muß ich ihm aber als einem Erbstück versagen. Es muß deshalb warten, bis ihm der Atem von selbst ausgeht, wenn es mich manchmal auch wie aus verständigen Menschaugen ansieht, die zu verständigem Tun auffordern.

6. AN ALLE MEINE HAUSGENOSSEN

Ich besitze fünf Kindergewehre, sie hängen in meinem Kasten, an jedem Haken eines. Das erste gehört mir, zu den andern kann sich melden wer will, melden sich mehr als vier, so müssen die überzähligen ihre eigenen Gewehre mitbringen und in meinem Kasten deponieren. Denn Einheitlichkeit muß sein, ohne Einheitlichkeit kommen wir nicht vorwärts. Übrigens habe ich nur Gewehre, die zu sonstiger Verwendung ganz unbrauchbar sind, der Mechanismus ist verdorben, der Pfropfen abgerissen, nur die Hahne knacken noch. Es wird also nicht schwer sein, notigenfalls noch weitere solche Gewehre zu beschaffen. Aber im Grunde sind mir für die erste Zeit auch Leute ohne Gewehre recht, wir die wir Gewehre haben werden im entscheidenden Augenblick die Unbewaffneten in die Mitte nehmen. Eine Kampfweise die sich bei den ersten amerikanischen Farmern gegenüber den Indianern bewahrt hat, warum sollte sie sich nicht auch hier bewahren, da doch die Verhältnisse ähnlich sind. Man kann also sogar für die Dauer auf die Gewehre verzichten. Und selbst die fünf Gewehre sind nicht unbedingt nötig und nur weil sie schon einmal vorhanden sind, sollen sie auch verwendet werden. Wollen sie aber die vier andern nicht tragen so sollen sie es bleiben lassen. Dann werde also ich allein als Führer eines tragen. Aber wir sollen keinen Führer haben und so werde auch ich mein Gewehr zerbrechen oder weglegen.

Das war der erste Aufruf. In unserm Haus hat man keine Zeit und keine Lust Aufrufe zu lesen oder gar zu überdenken. Bald schwammen die kleinen Papiere in dem Schmutzstrom der vom Dachboden ausgehend, von allen Korridoren genährt, die Treppe hinabspült und dort mit dem Gegenstrom kämpft der von unten hinaufschwillt. Aber nach einer Woche kam ein zweiter Aufruf.

Hausgenossen!

Es hat sich bisher niemand bei mir gemeldet. Ich war, soweit ich nicht meinen Lebensunterhalt verdienen muß, fortwährend zuhause und für die Zeit meiner Abwesenheit, während welcher meine Zimmertür stets offen war, lag auf meinem Tisch ein Blatt, auf dem sich jeder der wollte einschreiben konnte. Niemand hats getan.

7. WARUM WILLST DU

Gestern war ich zum erstenmal in den Direktionskanzleien. Unsere Nachtschicht hat mich zum Vertrauensmann gewählt und da die Konstruktion und Füllung unserer Lampen unzulänglich ist, sollte ich dort auf die Abschaffung dieser Mißstände dringen. Man zeigte mir das zuständige Bureau, ich klopfte an und trat ein. Ein zarter junger Mann, sehr bleich, lachelte mir von seinem großen Schreibtisch entgegen. Viel, uberviel nickte er mit dem Kopf. Ich wußte nicht ob ich mich setzen sollte, es war dort zwar ein Sessel bereit, aber ich dachte, bei meinem ersten Besuch musse ich mich vielleicht nicht gleich setzen, und so erzählte ich die Geschichte stehend. Gerade durch diese Bescheidenheit verursachte ich aber dem jungen Mann offenbar Schwierigkeiten, denn er mußte das Gesicht zu mir herum und aufwärts drehn, falls er nicht seinen Sessel umstellen wollte und das wollte er nicht. Andererseits aber brachte er auch den Hals trotz aller Bereitwilligkeit nicht ganz herum und blickte deshalb während meiner Erzählung auf halbem Wege schief zur Zimmerdecke hinauf, ich unwillkürlich ihm nach. Als ich fertig war stand er langsam auf, klopfte mir auf die Schultern, sagte: So, so – so so, und schob mich in das Nebenzimmer, wo ein Herr mit wildwachsendem großen Bart uns offenbar erwartet hatte, denn auf seinem Tisch war keine Spur irgendeiner Arbeit zu sehn, dagegen fuhrte eine offene Glaskabine zu einem kleinen Gartchen mit Blumen und Strauchern in Fülle. Eine kleine Information aus paar Worten bestehend, vom jungen Mann ihm zugeflüstert genügt dem Herrn um unsere vielfachen Beschwerden zu erfassen. Sofort stand er auf und sagte: Also mein lieber – er stockte, ich glaubte, er wolle meinen Namen wissen und ich machte deshalb schon den Mund auf, um mich neuerlich vorzustellen, aber er fuhr mir dazwischen: Ja, ja, es ist gut, es ist gut, ich kenne Dich sehr genau – also Deine oder Euere Bitte ist gewiß berechtigt, ich und die Herren von der Direktion sind die letzten, die das nicht einsehen wurden. Das Wohl der Leute, glaube mir, liegt uns mehr am Herzen als das Wohl des Werkes. Warum auch nicht Das Werk kann aber wieder neu errichtet werden, es kostet nur Geld, zum Teufel mit dem Geld, geht aber ein Mensch zugrunde, so geht eben ein Mensch zugrunde, es bleibt die Witwe, die Kinder. Ach Du liebe Gute! Darum ist also jeder Vorschlag neue Sicherung, neue Erleichterung, neue Bequemlichkeit und Luxuriositäten einzuführen, uns hochwillkommen. Wer damit kommt, ist unser Mann. Du laßt uns also Deine Anregungen hier, wir werden sie genau prüfen, sollte noch irgendeine kleine blendende Neuigkeit angeheftet werden können, werden wir sie gewiß nicht unterschlagen und bis alles fertig ist, bekommt Ihr die neuen Lampen. Das aber sage Deinen Leuten unten: Solange wir nicht aus Euerem Stollen einen Salon gemacht haben, werden wir hier nicht ruhn und wenn Ihr nicht schließlich in Lackstiefeln umkommt, dann überhaupt nicht. Und damit schon empfohlen!

8. DIE EISENBAHNREISENDEN

Wir sind, mit dem irdisch befleckten Auge gesehn, in der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind und zwar an einer Stelle wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, da? der Blick es immerfort suchen mu? und immerfort verliert wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Hochstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer und ein je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen entzuckendes oder ermudendes kaleidoskopisches Spiel.

Was soll ich tun? oder Wozu soll ich es tun? sind keine Fragen dieser Gegenden.

9. EINE ALLTAGLICHE VERWIRRUNG

Ein alltäglicher Vorfall; sein Ertragen ein alltäglicher Heroismus: A. hat mit B. aus dem Nachbardorf H ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt den Hin- und Herweg in je zehn Minuten zurück und ruht sich zuhause dieser besonderen Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H, diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluss; da dieser voraussichtlich mehrere Stunden erfordern wird, geht A schon frühmorgens aus; trotzdem aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A.'s Meinung, völlig die gleichen sind wie am Vortag braucht er diesmal zum Weg nach H zehn Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, daß B. argerlich wegen A.'s Ausbleiben vor einer halben Stunde zu A. in sein Dorf hinüber gegangen sei; sie hätten einander eigentlich treffen müssen. Man rat A. zu warten, B. müsse ja gleich zurückkommen. A. aber, in Angst wegen des Geschäftes, macht sich sofort auf und eilt nachhause. Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu achten, geradezu in einem Augenblick zurück. Zuhause erfährt er, B. sei doch schon gleich früh gekommen, noch vor dem Weggang A.'s, ja er habe A. im Haustor getroffen, ihn an das Geschäft erinnert, aber A. habe gesagt, er habe jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eiligst fort. Trotz dieses unverständlichen Verhaltens A.'s sei aber B. doch hier geblieben um auf A. zu warten. Er habe zwar schon oft nachgefragt ob A. zurückgekommen sei, befinde sich aber noch immer oben in A.'s Zimmer. Glücklich darüber, B. jetzt noch sprechen und ihm alles erklären zu können läuft A. die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben, da stolpert er, erleidet eine Sehnenzerrung und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur winselnd im Dunkel, hort und sieht er, wie B., undeutlich ob in großer Ferne oder knapp neben ihm, wutend die Treppe hinunterstampft und endgültig verschwindet.

10. KAFKAS DON QUICHOTES

19. Okt. 17: Das Unglück Don Quichotes ist nicht seine Phantasie, sondern Sancho Pansa.

20. Okt. 17: Sancho Pansa, der sich übrigens dessen nie geruhmt hat, gelang es im Laufe der Jahre, in den Abend-und Nachtstunden, durch Beistellung einer Menge Ritter-und Rauberromane seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quichote gab, derart von sich abzulenken, daß dieser dann haltlos die verrücktesten Taten ausführte, die aber mangels ihres vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Pansa hatte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Pansa, ein freier Mann, folgte gleichmutig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl dem Don Quichote auf seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende.

22 Okt. 17: Eine der wichtigsten Don Quichotischen Taten, aufdringlicher als der Kampf mit der Windmühle, ist der Selbstmord. Der tote Don Quichote will den toten Don Quichote toten; um zu toten, braucht er aber eine lebendige Stelle, diese sucht er nun mit seinem Schwerte ebenso unaufhörlich wie vergeblich. Unter dieser Beschäftigung rollen die zwei Toten, als unauflöslicher Purzelbaum, durch die Zeiten.

11. DAS SCHWEIGEN DER SIRENEN

Beweis dessen, daß auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können:

Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. Ähnliches hatten natürlich seit jeher alle Reisenden tun können, außer denen, welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten, aber es war in der ganzen Welt bekannt, daß dies unmöglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen durchdrang alles, und die Leidenschaft der Verführten hatte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran aber dachte Odysseus nicht, obwohl er davon vielleicht gehört hatte. Er vertraute vollständig der Handvoll Wachs und dem Gebinde Ketten und in unschuldiger Freude über seine Mittelchen fuhr er den Sirenen entgegen.

Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, daß sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hatte, vor ihrem Schweigen gewiß nicht. Dem Gefühl, aus eigener Kraft sie besiegt zu haben, der daraus folgenden alles fortweisenden Überhebung kann nichts Irdisches widerstehen.

Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sangerinnen nicht, sei es, daß sie glaubten, diesem Gegner könne nur noch das Schweigen beikommen, sei es, daß der Anblick der Glückseligkeit im Gesicht des Odysseus, der an nichts anderes als an Wachs und Ketten dachte, sie allen Gesang vergessen ließ.

Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht, er glaubte, sie sangen, und nur er sei behütet, es zu hören. Fluchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Halse, das tiefe Atmen, die tranenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklängen. Bald aber glitt alles an seinen in die Ferne gerichteten Blicken ab, die Sirenen verschwanden förmlich vor seiner Entschlossenheit, und gerade als er ihnen am nächsten war, wußte er nichts mehr von ihnen.

Sie aber – schöner als jemals – streckten und drehten sich, ließen das schaurige Haar offen im Winde wehen und spannten die Krallen frei auf den Felsen. Sie wollten nicht mehr verführen, nur noch den Abglanz vom großen Augenpaar des Odysseus wollten sie so lange als möglich erhaschen.

Hatten die Sirenen Bewußtsein, sie waren damals vernichtet worden. So aber blieben sie, nur Odysseus ist ihnen entgangen.

Es wird übrigens noch ein Anhang hierzu überliefert. Odysseus, sagt man, war so listenreich, war ein solcher Fuchs, daß selbst die Schicksalsgöttin nicht in sein Innerstes dringen konnte. Vielleicht hat er, obwohl das mit Menschenverstand nicht mehr zu begreifen ist, wirklich gemerkt, daß die Sirenen schwiegen, und hat ihnen und den Göttern den obigen Scheinvorgang nur gewissermaßen als Schild entgegengehalten.

12. DIE GEMEINSCHAFT VON SCHURKEN

Es war einmal eine Gemeinschaft von Schurken, d. h. es waren keine Schurken, sondern gewöhnliche Menschen, der Durchschnitt. Sie hielten immer zusammen. Wenn z. B. einer von ihnen etwas schurkenma?iges ausgeübt hatte, d. h. wieder nichts schurkenma?iges, sondern so wie es gewöhnlich, wie es üblich ist, und er dann vor der Gemeinschaft beichtete, untersuchten sie es, beurteilten es, legten Bu?en auf, verziehen udgl. Es war nicht schlecht gemeint, die Interessen der einzelnen und der Gemeinschaft wurden streng gewahrt und dem Beichtenden wurde das Komplement gereicht, dessen Grundfarbe er gezeigt hatte. So hielten sie immer zusammen, auch nach ihrem Tode gaben sie die Gemeinschaft nicht auf, sondern stiegen im Reigen zum Himmel. Im ganzen war es ein Anblick reinster Kinderunschuld wie sie flogen. Da aber vor dem Himmel alles in seine Elemente zerschlagen wird, sturzten sie ab, wahre Felsblöcke.

13. PROMETHEUS

Von Prometheus berichten vier Sagen: Nach der ersten wurde er, weil er die Gotter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus festgeschmiedet, und die Gotter schickten Adler, die von seiner immer wachsenden Leber fra?en.

Nach der zweiten druckte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhackenden Schnabeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins wurde.

Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen, die Gotter verga?en, die Adler, er selbst.

Nach der vierten wurde man des grundlos Gewordenen mude. Die Gotter wurden mude, die Adler wurden mude, die Wunde schlo? sich mude.

Blieb das unerklarliche Felsgebirge. – Die Sage versucht das Unerklarliche zu erklaren. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, mu? sie wieder im Unerklarlichen enden.

14. HEIMKEHR

Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. Die Pfütze in der Mitte. Altes, unbrauchbares Gerät, ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind. Ich bin angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, teils niemals kannte. Was kann ich ihnen nutzen, was bin ich ihnen und sei ich auch des Vaters, des alten Landwirts Sohn. Und ich wage nicht an die Küchentür zu klopfen, nur von der Ferne horche ich, nur von der Ferne horche ich stehend, nicht so, dass ich als Horcher überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne horche, erhörche ich nichts, nur einen leichten Uhrensclag höre ich oder glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber aus den Kindertagen. Was sonst in der Küche geschieht, ist das Geheimnis der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren. Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn jetzt jemand die Tür öffnete und mich etwas fragte. Wäre ich dann nicht selbst wie einer, der sein Geheimnis wahren will.

15. DAS STADTWAPPEN

Anfangs war beim babylonischen Turmbau alles in leidlicher Ordnung; ja, die Ordnung war vielleicht zu groß, man dachte zu sehr an Wegweiser, Dolmetscher, Arbeiterunterkünfte und Verbindungswege, so als habe man Jahrhunderte freier Arbeitsmöglichkeit vor sich. Die damals herrschende Meinung ging sogar dahin, man könne gar nicht langsam genug bauen; man mußte diese Meinung gar nicht sehr übertreiben und konnte überhaupt davor zurückschrecken, die Fundamente zu legen. Man argumentierte nämlich so: Das Wesentliche des ganzen Unternehmens ist der Gedanke, einen bis in den Himmel reichenden Turm zu bauen. Neben diesem Gedanken ist alles andere nebensächlich. Der Gedanke, einmal in seiner Größe gefaßt, kann nicht mehr verschwinden; solange es Menschen gibt, wird auch der starke Wunsch da sein, den Turm zu Ende zu bauen. In dieser Hinsicht aber muß man wegen der Zukunft keine Sorgen haben, im Gegenteil, das Wissen der Menschheit steigert sich, die Baukunst hat Fortschritte gemacht und wird weitere Fortschritte machen, eine Arbeit, zu der wir ein Jahr brauchen, wird in hundert Jahren vielleicht in einem halben Jahr geleistet werden und überties besser, haltbarer. Warum also schon heute sich an die Grenze der Kräfte abmühen? Das hätte nur dann Sinn, wenn man hoffen konnte, den Turm in der Zeit einer Generation aufzubauen. Das aber war auf keine Weise zu erwarten. Eher ließe sich denken, daß die nächste Generation mit ihrem vervollkommenen Wissen die Arbeit der vorigen Generation schlecht finden und das Gebaute niederreißen werde, um von neuem anzufangen. Solche Gedanken lähmten die Kräfte, und mehr als um den Turmbau kümmerte man sich um den Bau der Arbeiterstadt. Jede Landsmannschaft wollte das schönste Quartier haben, dadurch ergaben sich Streitigkeiten, die sich bis zu blutigen Kämpfen steigerten. Diese Kämpfe horten nicht mehr auf; den Führern waren sie ein neues Argument dafür, daß der Turm auch mangels der nötigen Konzentration sehr langsam oder lieber erst nach allgemeinem Friedensschluß gebaut werden sollte. Doch verbrachte man die Zeit nicht nur mit Kämpfen, in den Pausen verschönerte man die Stadt, wodurch man allerdings neuen Neid und neue Kämpfe hervorrief. So verging die Zeit der ersten Generation, aber keine der folgenden war anders, nur die Kunstfertigkeit steigerte sich immerfort und damit die Kampfsucht. Dazu kam, daß schon die zweite oder dritte Generation die Sinnlosigkeit des Himmelsturmbaus erkannte, doch war man schon viel zu sehr miteinander verbunden, um die Stadt zu verlassen.

Alles was in dieser Stadt an Sagen und Liedern entstanden ist, ist erfüllt von der Sehnsucht nach einem prophezeiten Tag, an welchem die Stadt von einer Riesenfaust in fünf kurz aufeinanderfolgenden Schlägen zerschmettert werden wird. Deshalb hat auch die Stadt die Faust im Wappen.

16. POSEIDON

Poseidon saß an seinem Arbeitstisch und rechnete. Die Verwaltung aller Gewässer gab ihm unendliche Arbeit. Er hatte Hilfskräfte haben können, wie viel er wollte, und er hatte auch sehr viele, aber da er sein Amt sehr ernst nahm, rechnete er alles noch einmal durch und so halfen ihm die Hilfskräfte wenig. Man kann nicht sagen, daß ihn die Arbeit freute, er führte sie eigentlich nur aus, weil sie ihm auferlegt war, ja er hatte sich schon oft um frohlichere Arbeit, wie er sich ausdrückte, beworben, aber immer, wenn man ihm dann verschiedene Vorschläge machte, zeigte es sich, daß ihm doch nichts so zusagte, wie sein bisheriges Amt. Es war auch sehr schwer, etwas anderes für ihn zu finden. Man konnte ihm doch unmöglich etwa ein bestimmtes Meer zuweisen; abgesehen davon, daß auch hier die rechnerische Arbeit nicht kleiner, sondern nur kleinlicher war, konnte der große Poseidon doch immer nur eine beherrschende Stellung bekommen. Und bot man ihm eine Stellung außerhalb des Wassers an, wurde ihm schon von der Vorstellung übel, sein göttlicher Atem geriet in Unordnung, sein eherner Brustkorb schwankte. Übrigens nahm man seine Beschwerden nicht eigentlich ernst; wenn ein Machtiger qualt, muß man ihm auch in der aussichtslosesten Angelegenheit scheinbar nachzugeben versuchen; an eine wirkliche Enthebung Poseidons von seinem Amt dachte niemand, seit Urbeginn war er zum Gott der Meere bestimmt worden und dabei mußte es bleiben.

Am meisten argerte er sich – und dies verursachte hauptsächlich seine Unzufriedenheit mit dem Amt – wenn er von den Vorstellungen horte, die man sich von ihm machte, wie er etwa immerfort mit dem Dreizack durch die Fluten kutschiere. Unterdessen saß er hier in der Tiefe des Weltmeeres und rechnete ununterbrochen, hier und da eine Reise zu Jupiter war die einzige Unterbrechung der Eintönigkeit, eine Reise übrigens, von der er meistens wütend zurückkehrte. So hatte er die Meere kaum gesehen, nur flüchtig beim eiligen Aufstieg zum Olymp, und niemals wirklich durchfahren. Er pflegte zu sagen, er warte damit bis zum Weltuntergang, dann werde sich wohl noch ein stiller Augenblick ergeben, wo er knapp vor dem Ende nach Durchsicht der letzten Rechnung noch schnell eine kleine Rundfahrt werde machen können.

17. GEMEINSCHAFT

Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt so leicht, wie ein Quecksilberkugelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten: »Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen.« Seitdem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lastig, das ist genug getan; warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. Wie soll man aber das alles dem sechsten beibringen, lange Erklärungen wurden schon fast eine Aufnahme in unsern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.

18. NACHTS

Versunken in die Nacht. So wie man manchmal den Kopf senkt, um nachzudenken, so ganz versunken sein in die Nacht. Ringsum schlafen die Menschen. Eine kleine Schauspielerei, eine unschuldige Selbsttauschung, da? sie in Hausern schlafen, in festen Betten, unter festem Dach, ausgestreckt oder geduckt auf Matratzen, in Tuchern, unter Decken, in Wirklichkeit haben sie sich zusammengefunden wie damals einmal und wie später in wuster Gegend, ein Lager im Freien, eine unubersehbare Zahl Menschen, ein Heer, ein Volk, unter kaltem Himmel auf kalter Erde, hingeworfen wo man fruher stand, die Stirn auf den Arm gedruckt, das Gesicht gegen den Boden hin, ruhig atmend. Und du wachst, bist einer der Wachter, findest den nachsten durch Schwenken des brennenden Holzes aus dem Reisighaufen neben dir. Warum wachst du? Einer mu? wachen, hei?t es. Einer mu? da sein.

19. DIE ABWEISUNG

Unser Stadtchen liegt nicht etwa an der Grenze, bei weitem nicht, zur Grenze ist es noch so weit, dass vielleicht noch niemand aus dem Stadtchen dort gewesen ist, wüste Hochländer sind zu durchqueren, aber auch weite fruchtbare Länder. Man wird müde, wenn man sich nur einen Teil des Weges vorstellt, und mehr als einen Teil kann man sich gar nicht vorstellen. Auch große Städte liegen auf dem Weg, viel größer als unser Stadtchen. Zehn solche Stadtchen, nebeneinander gelegt, und von oben noch zehn solche Stadtchen hineingezwängt, ergeben noch keine dieser riesigen und engen Städte. Verirrt man sich nicht auf dem Weg dorthin, so verirrt man sich in den Städten gewiss, und ihnen auszuweichen ist wegen ihrer Größe unmöglich.

Aber doch noch weiter als bis zur Grenze ist, wenn man solche Entfernungen überhaupt vergleichen kann – es ist so, als wenn man sagte, ein dreihundertjähriger Mann ist älter als ein zweihundertjähriger –, also noch viel weiter als bis zur Grenze ist es von unserem Stadtchen zur Hauptstadt. Während wir von den Grenzkriegen hier und da doch Nachrichten bekommen, erfahren wir aus der Hauptstadt fast nichts, wir bürgerlichen Leute meine ich, denn die Regierungsbeamten haben allerdings eine sehr gute Verbindung mit der Hauptstadt, in zwei, drei Monaten können sie schon eine Nachricht von dort haben, wenigstens behaupten sie es.

Und nun ist es merkwürdig, und darüber wundere ich mich immer wieder von neuem, wie wir uns in unserem Stadtchen allem ruhig fügen, was von der Hauptstadt aus angeordnet wird. Seit Jahrhunderten hat bei uns keine von den Bürgern selbst ausgehende politische Veränderung stattgefunden. In der Hauptstadt haben die hohen Herrscher einander abgelöst, ja sogar Dynastien sind ausgelöscht oder abgesetzt worden und neue haben begonnen, im vorigen Jahrhundert ist sogar die Hauptstadt selbst zerstört, eine neue weit von ihr gegründet, später auch diese zerstört und die alte wieder aufgebaut worden, auf unser Stadtchen hat das eigentlich keinen Einfluss gehabt. Unsere Beamtschaft war immer auf ihrem Posten, die höchsten Beamten kamen aus der Hauptstadt, die mittleren Beamten zumindest von auswärts, die niedrigsten aus unserer Mitte, und so blieb es und so hat es uns genügt. Der höchste Beamte ist der Obersteuereintnehmer, er hat den Rang eines Obersten und wird auch so genannt. Heute ist er ein alter Mann, ich kenne ihn aber schon seit Jahren, denn schon in meiner Kindheit war er Oberst, er hat zuerst eine sehr schnelle Karriere gemacht, dann scheint sie aber gestockt zu haben, nun für unser Stadtchen reicht sein Rang aus, einen höheren Rang wären wir bei uns gar nicht aufzunehmen fähig. Wann ich mir ihn vorzustellen suche, sehe ich ihn auf der Veranda seines Hauses auf dem Marktplatz sitzen, zurückgelehnt, die Pfeife im Mund. Über ihm weht vom Dach die Reichsfahne, an den Seiten der Veranda, die so groß ist, dass dort manchmal auch kleine militärische Übungen stattfinden, ist die Wasche zum Trocknen aufgehängt. Seine Enkel, in schönen seidenen Kleidern, spielen um ihn herum, auf den Marktplatz hinunter dürfen sie nicht gehen, die andern Kinder sind ihrer unwürdig, aber doch lockt sie der Platz und sie stecken wenigstens die Köpfe zwischen den Geländerstangen durch, und wenn die andern Kinder unten streiten, streiten sie von oben mit.

Dieser Oberst also beherrscht die Stadt. Ich glaube, er hat noch niemandem ein Dokument vorgezeigt, das ihn dazu berechtigt. Er hat wohl auch kein solches Dokument. Vielleicht ist er wirklich Obersteuereintnehmer. Aber ist das alles? Berechtigt ihn das, auch in allen Gebieten der Verwaltung zu herrschen? Sein Amt ist ja für den Staat sehr gewichtig, aber für die Bürger ist es doch nicht das Wichtigste. Bei uns hat man fast den Eindruck, als ob die Leute sagten: »Nun hast du uns alles genommen, was wir hatten, nimm bitte auch uns selbst noch dazu.« Denn tatsächlich hat er nicht etwa die Herrschaft an sich gerissen und ist auch kein Tyrann. Es hat sich seit alten Zeiten so entwickelt, dass der Obersteuereintnehmer der erste Beamte ist, und der Oberst fugt sich dieser Tradition nicht anders als wir.

Aber wiewohl er ohne allzu viel Unterscheidungen der Würde unter uns lebt, ist er doch etwas ganz anderes als die gewöhnlichen Bürger. Wenn eine Abordnung mit einer Bitte vor ihn kommt, steht er da wie die Mauer der Welt. Hinter ihm ist nichts mehr, man hört formlich dort weiterhin noch ahnungsweise ein paar Stimmen flüstern, aber das ist wahrscheinlich Täuschung, er bedeutet doch den Abschluss des Ganzen, wenigstens für uns. Man muss ihn bei solchen Empfängen gesehen haben. Als Kind war ich einmal dabei, als eine Abordnung der Bürgerschaft ihn um eine Regierungsunterstützung bat, denn das ärmste Stadtviertel war gänzlich niedergebrannt. Mein Vater, der Hufschmied, ist in der Gemeinde angesehen, war Mitglied der Abordnung und hatte mich mitgenommen. Das ist nichts Außergewöhnliches, zu einem solchen Schauspiel drängt sich alles, man erkennt die eigentliche Abordnung kaum aus der Menge heraus; da solche Empfänge meist auf der Veranda stattfinden, gibt es auch Leute, die vom Marktplatz her auf Leitern hinaufklettern und über das Geländer hinweg an den Dingen oben teilnehmen. Damals war es so eingerichtet, dass etwa ein Viertel der Veranda ihm vorbehalten war, den übrigen Teil füllte die Menge. Einige Soldaten überwachten alles, auch umstanden sie in einem Halbkreis ihn selbst. Im Grunde hatte ein Soldat für alles genügt, so groß ist bei uns die Furcht vor ihnen. Ich weiß nicht genau, woher diese Soldaten kommen, jedenfalls von weit her, alle sind sie einander sehr ähnlich, sie wurden nicht einmal eine Uniform brauchen. Es sind kleine, nicht starke, aber behende Leute, am auffallendsten ist an ihnen das starke Gebiss, das formlich allzu sehr ihren Mund füllt, und ein gewisses unruhig zuckendes Blitzen ihrer kleinen schmalen Augen. Durch dieses sind sie der Schrecken der Kinder, allerdings auch ihre Lust, denn immerfort mochten die Kinder vor diesem Gebiss und diesen Augen erschrecken wollen, um dann verzweifelt wegzulaufen. Dieser Schrecken aus der Kinderzeit verliert sich wahrscheinlich auch bei den Erwachsenen nicht, zumindest wirkt er nach. Es kommt dann freilich auch noch anderes hinzu. Die Soldaten sprechen einen uns ganz unverständlichen Dialekt, können sich an unsern kaum gewöhnen, dadurch ergibt sich bei ihnen eine gewisse Abgeschlossenheit, Unnahbarkeit, die überdies auch ihrem Charakter entspricht, so still, ernst und starr sind sie, sie tun nichts eigentlich Böses und sind doch in einem bösen Sinn fast unerträglich. Es kommt zum Beispiel ein Soldat in ein Geschäft, kauft eine Kleinigkeit, und bleibt dort nun an den Pult gelehnt stehn, hört den Gesprächen zu, versteht sie wahrscheinlich nicht, aber es hat doch den Anschein, als ob er sie verstünde, sagt selbst kein Wort, blickt nur starr auf den, welcher spricht, dann wieder auf die, welche zuhören, und hält die Hand auf dem Griff des langen Messers in seinem Gurtel. Das ist abscheulich, man verliert die Lust an der Unterhaltung, der Laden leert sich, und erst wenn er ganz leer ist, geht auch der Soldat. Wo also die Soldaten auftreten, wird auch unser lebhaftes Volk still. So war es auch damals. Wie bei allen feierlichen Gelegenheiten stand der Oberst aufrecht und hielt mit den nach vorn ausgestreckten Händen zwei lange Bambusstangen. Es ist eine alte Sitte, die etwa bedeutet: so stützt er das Gesetz und so stützt es ihn. Nun weiß ja jeder, was ihn oben auf der Veranda erwartet, und doch pflegt man immer wieder von neuem zu erschrecken, auch damals wollte der zum Reden Bestimmte nicht anfangen, er stand schon dem Obersten gegenüber, aber dann verlieh ihn der Mut und er drängte sich wieder unter verschiedenen Ausreden in die Menge zurück. Auch sonst fand sich kein Geeigneter, der bereit gewesen wäre zu sprechen – von den Ungeeigneten boten sich allerdings einige an –, es war eine große Verwirrung und man sandte Boten an verschiedene Bürger, bekannte Redner aus. Während dieser ganzen Zeit stand der Oberst unbeweglich da, nur im Atmen senkte sich auffallend die Brust. Nicht dass er etwa schwer geatmet hatte, er atmete nur zuerst deutlich, so wie zum Beispiel Frosche atmen, nur dass es bei ihnen immer so ist, hier aber war es außerordentlich. Ich schlich mich zwischen den Erwachsenen durch und beobachtete ihn durch die Lucke zwischen zwei Soldaten so lange, bis mich einer mit dem Knie wegstieß. Inzwischen hatte sich der ursprünglich zum Redner Bestimmte gesammelt und, von zwei Mitbürgern fest gestützt, hielt er die Ansprache. Ruhend war, wie er bei dieser ernsten, das große Unglück schildernden Rede immer

lachelte, ein allerdemutigstes Lacheln, das sich vergeblich anstrengte auch nur einen leichten Widerschein auf dem Gesicht des Obersten hervorzurufen. Schließlich formulierte er die Bitte, ich glaube, er bat nur um Steuerbefreiung für ein Jahr, vielleicht aber auch noch um billigeres Bauholz aus den kaiserlichen Wäldern. Dann verbeugte er sich tief und blieb in der Verbeugung ebenso wie alle andern außer dem Obersten, den Soldaten und einigen Beamten im Hintergrund. Lächerlich war es für das Kind, wie die auf den Leitern am Verandarand ein paar Sprossen hinunterstiegen, um während dieser entscheidenden Pause nicht gesehen zu werden, und nur neugierig knapp über dem Boden der Veranda von Zeit zu Zeit spionierten. Das dauerte eine Weile, dann trat ein Beamter, ein kleiner Mann, vor den Obersten, suchte sich auf den Fußspitzen zu ihm emporzuheben, erhielt von ihm, der noch immer bis auf das tiefe Atmen unbeweglich blieb, etwas ins Ohr geflüstert, klatschte in die Hände, worauf sich alle erhoben, und verkündete: »Die Bitte ist abgewiesen. Entfernt euch.« Ein unleugbares Gefühl der Erleichterung ging durch die Menge, alles drängte sich hinaus, auf den Obersten, der formlich wieder ein Mensch wie wir alle geworden war, achtete kaum jemand besonders, ich sah nur, wie er tatsächlich erschöpft die Stangen losließ, die hinfielen, in einen von Beamten herbeigeschleppten Lehnstuhl sank und eilig die Tabakpfeife in den Mund schob.

Dieser ganze Vorfall ist nicht vereinzelt, so geht es allgemein zu. Es kommt zwar vor, dass hier und da kleine Bitten erfüllt werden, aber dann ist es so, als hätte das der Oberst auf eigene Verantwortung als mächtige Privatperson getan, es muss – gewiss nicht ausdrücklich, aber der Stimmung nach – formlich vor der Regierung geheim gehalten werden. Nun sind ja in unserem Stadtchen die Augen des Obersten, soweit wir es beurteilen können, auch die Augen der Regierung, aber doch wird hier ein Unterschied gemacht, in den vollständig nicht einzudringen ist.

In wichtigen Angelegenheiten aber kann die Bürgerschaft einer Abweisung immer sicher sein. Und nun ist es eben so merkwürdig, dass man ohne diese Abweisung gewissermaßen nicht auskommen kann, und dabei ist dieses Hingehn und Abholen der Abweisung durchaus keine Formalität. Immer wieder frisch und ernst geht man hin und geht dann wieder von dort, allerdings nicht geradezu gekraftigt und beglückt, aber doch auch gar nicht enttäuscht und müde. Ich muss mich bei niemandem nach diesen Dingen erkundigen, ich fühle es in mir selbst wie alle. Und nicht einmal eine gewisse Neugierde, den Zusammenhängen dieser Dinge nachzuforschen.

Es gibt allerdings, so weit meine Beobachtungen reichen, eine gewisse Altersklasse, die nicht zufrieden ist, es sind etwa die jungen Leute zwischen siebzehn und zwanzig. Also ganz junge Burschen, die die Tragweite des unbedeutendsten, wie erst gar eines revolutionären Gedankens nicht von der Ferne ahnen können. Und gerade unter sie schleicht sich die Unzufriedenheit ein.

20. ZUR FRAGE DER GESETZE

Unsere Gesetze sind nicht allgemein bekannt, sie sind Geheimnis der kleinen Adelsgruppe, welche uns beherrscht. Wir sind davon überzeugt, daß diese alten Gesetze genau eingehalten werden, aber es ist doch etwas außerst Qualendes, nach Gesetzen beherrscht zu werden, die man nicht kennt. Ich denke hierbei nicht an die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten und die Nachteile, die es mit sich bringt, wenn nur einzelne und nicht das ganze Volk an der Auslegung sich beteiligen dürfen. Diese Nachteile sind vielleicht gar nicht sehr groß. Die Gesetze sind ja so alt, Jahrhunderte haben an ihrer Auslegung gearbeitet, auch diese Auslegung ist wohl schon Gesetz geworden, die möglichen Freiheiten bei der Auslegung bestehen zwar immer noch, sind aber sehr eingeschränkt. Außerdem hat offenbar der Adel keinen Grund, sich bei der Auslegung von seinem persönlichen Interesse zu unseren Ungunsten beeinflussen zu lassen, denn die Gesetze sind ja von ihrem Beginne an für den Adel festgelegt worden, der Adel steht außerhalb des Gesetzes, und gerade deshalb scheint das Gesetz sich ausschließlich in die Hände des Adels gegeben zu haben. Darin liegt natürlich Weisheit – wer zweifelt die Weisheit der alten Gesetze an? –, aber eben auch Qual für uns, wahrscheinlich ist das unumgänglich.

Übrigens können auch diese Scheingesetze eigentlich nur vermutet werden. Es ist eine Tradition, daß sie bestehen und dem Adel als Geheimnis anvertraut sind, aber mehr als alte und durch ihr Alter glaubwürdige Tradition ist es nicht und kann es nicht sein, denn der Charakter dieser Gesetze verlangt auch das Geheimhalten ihres Bestandes. Wenn wir im Volk aber seit ältesten Zeiten die Handlungen des Adels aufmerksam verfolgen, Aufschreibungen unserer Voreltern darüber besitzen, sie gewissenhaft fortgesetzt haben und in den zahllosen Tatsachen gewisse Richtlinien zu erkennen glauben, die auf diese oder jene geschichtliche Bestimmung schließen lassen, und wenn wir nach diesen sorgfältig gesiebten und geordneten Schlußfolgerungen uns für die Gegenwart und Zukunft ein wenig einzurichten suchen – so ist das alles unsicher und vielleicht nur ein Spiel des Verstandes, denn vielleicht bestehen diese Gesetze, die wir hier zu erraten suchen, überhaupt nicht. Es gibt eine kleine Partei, die wirklich dieser Meinung ist und die nachzuweisen sucht, daß, wenn ein Gesetz besteht, es nur lauten kann: Was der Adel tut, ist Gesetz. Diese Partei sieht nur Willkürakte des Adels und verwirft die Volkstradition, die ihrer Meinung nach nur geringen zufälligen Nutzen bringt, dagegen meistens schweren Schaden, da sie dem Volk den kommenden Ereignissen gegenüber eine falsche, trügerische, zu Leichtsinne führende Sicherheit gibt. Dieser Schaden ist nicht zu leugnen, aber die bei weitem überwiegende Mehrheit unseres Volkes sieht die Ursache dessen darin, daß die Tradition noch bei weitem nicht ausreicht daß also noch viel mehr in ihr geforscht werden muß und daß allerdings auch ihr Material, so riesenhaft es scheint, noch viel zu klein ist und daß noch Jahrhunderte vergehen müssen, ehe es genügen wird. Das für die Gegenwart Trübe dieses Ausblicks erhellt nur der Glaube, daß einmal eine Zeit kommen wird, wo die Tradition und ihre Forschung gewissermaßen aufatmend den Schlußpunkt macht, alles klar geworden ist, das Gesetz nur dem Volk gehört und der Adel verschwindet. Das wird nicht etwa mit Haß gegen den Adel gesagt, durchaus nicht und von niemandem. Eher hassen wir uns selbst, weil wir noch nicht des Gesetzes gewürdigt werden können. Und darum eigentlich ist jene in gewissem Sinn doch sehr verlockende Partei, welche an kein eigentliches Gesetz glaubt, so klein geblieben, weil auch sie den Adel und das Recht seines Bestandes vollkommen anerkennt.

Man kann es eigentlich nur in einer Art Widerspruch ausdrücken: Eine Partei, die neben dem Glauben an die Gesetze auch den Adel verwerfen würde, hatte sofort das ganze Volk hinter sich, aber eine solche Partei kann nicht entstehen, weil den Adel niemand zu verwerfen wagt. Auf dieses Messers Schneide leben wir. Ein Schriftsteller hat das einmal so zusammengefaßt: Das einzige, sichtbare, zweifellose Gesetz, das uns auferlegt ist, ist der Adel und um dieses einzige Gesetz sollten wir uns selbst bringen wollen?

21. DIE TRUPPENAUSHEBUNG

Die Truppenaushebungen, die oft nötig sind, denn die Grenzkampfe hören niemals auf, finden auf folgende Weise statt: Es ergeht der Auftrag, dass an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Stadtteil alle Einwohner, Männer, Frauen, Kinder ohne Unterschied, in ihren Wohnungen bleiben müssen.

Meist erst gegen Mittag erscheint am Eingang des Stadtteils, wo eine Soldatenabteilung, Fußsoldaten und Berittene, schon seit der Morgendämmerung wartet, der junge Adelige, der die Aushebung vornehmen soll. Es ist ein junger Mann, schmal, nicht groß, schwach, nachlässig angezogen, mit müden Augen, Unruhe überläuft ihn immerfort, wie einen Kranken das Frosteln. Ohne jemanden anzuschauen, macht er mit einer Peitsche, die seine ganze Ausrüstung bildet, ein Zeichen, einige Soldaten schließen sich ihm an und er betritt das erste Haus. Ein Soldat, der alle Einwohner dieses Stadtteils persönlich kennt, verliest das Verzeichnis der Hausgenossen. Gewöhnlich sind alle da, stehen schon in einer Reihe in der Stube, hängen mit den Augen an dem Adeligen, als seien sie schon Soldaten. Es kann aber auch geschehn, dass hie und da einer, immer sind das nur Männer, fehlt. Dann wird niemand eine Ausrede oder gar eine Lüge vorzubringen wagen, man schweigt, man senkt die Augen, man erträgt kaum den Druck des Befehles, gegen den man sich in diesem Haus vergangen hat, aber die stumme Gegenwart des Adeligen hält doch alle auf ihren Plätzen. Der Adelige gibt ein Zeichen, es ist nicht einmal ein Kopfnicken, es ist nur von den Augen abzulesen und zwei Soldaten fangen den Fehlenden zu suchen an. Das gibt gar keine Muhe. Niemals ist er außerhalb des Hauses, niemals beabsichtigt er sich wirklich dem Truppendienst zu entziehen, nur aus Angst ist er nicht gekommen, aber es ist auch nicht Angst vor dem Dienst, die ihn abhält, es ist überhaupt Scheu davor, sich zu zeigen, der Befehl ist für ihn formlich zu groß, anstrengend groß, er kann nicht aus eigener Kraft kommen. Aber deshalb flüchtet er nicht, er versteckt sich bloß, und wenn er hört, dass der Adelige im Haus ist, schleicht er sich wohl auch noch aus dem Versteck, schleicht zur Tür der Stube und wird sofort von den heraustretenden Soldaten gepackt. Er wird vor den Adeligen geführt, der die Peitsche mit beiden Händen fasst – er ist so schwach, mit einer Hand würde er gar nichts ausrichten – und den Mann prügelt. Große Schmerzen verursacht das kaum, dann lässt er halb aus Erschöpfung, halb in Widerwillen die Peitsche fallen, der Geprügelte hat sie aufzuheben und ihm zu reichen. Dann erst darf er in die Reihe der Übrigen treten; es ist übrigens fast sicher, dass er nicht assentiert werden wird. Es geschieht aber auch, und dieses ist häufiger, dass mehr Leute da sind, als in dem Verzeichnis stehen. Ein fremdes Mädchen ist zum Beispiel da und blickt den Adeligen an, sie ist von auswärts, vielleicht aus der Provinz, die Truppenaushebung hat sie hergelockt, es gibt viele Frauen, die der Verlockung einer solchen fremden Aushebung – die hausliche hat eine ganz andere Bedeutung – nicht widerstehen können. Und es ist merkwürdig, es wird nichts Schimpfliches darin gesehen, wenn eine Frau dieser Verlockung nachgibt, im Gegenteil, es ist irgendetwas, das nach der Meinung mancher die Frauen durchmachen müssen, es ist eine Schuld, die sie ihrem Geschlecht abzahlen. Es verläuft auch immer gleichartig. Das Mädchen oder die Frau hört, dass irgendwo, vielleicht sehr weit, bei Verwandten oder Freunden, Aushebung ist, sie bittet ihre Angehörigen um die Bewilligung der Reise, man willigt ein, das kann man nicht verweigern, sie zieht das Beste an, was sie hat, ist frohlicher als sonst, dabei ruhig und freundlich, gleichgültig wie sie auch sonst sein mag, und hinter aller Ruhe und Freundlichkeit unzugänglich wie etwa eine völlig Fremde, die in ihre Heimat fährt und nun an nichts anderes mehr denkt. In der Familie, wo die Aushebung stattfinden soll, wird sie ganz anders empfangen als ein gewöhnlicher Gast, alles umschmeichelt sie, alle Räume des Hauses muß sie durchgehn, aus allen Fenstern sich beugen, und legt sie jemandem die Hand auf den Kopf, ist es mehr als der Segen des Vaters. Wenn sich die Familie zur Aushebung bereitmacht, bekommt sie den besten Platz, das ist der in der Nähe der Tür, wo sie vom Adeligen am besten gesehen wird und am besten ihn sehen wird. So geehrt ist sie aber nur bis zum Eintritt des Adeligen, von da an verblüht sie formlich. Er sieht sie ebenso wenig an wie die andern, und selbst wenn er die Augen auf jemanden richtet, fühlt sich dieser nicht angesehen. Das hat sie nicht erwartet oder vielmehr, sie hat es bestimmt erwartet, denn es kann nicht anders sein, aber es war auch nicht die Erwartung des Gegenteils, die sie hergetrieben hat, es war bloß etwas, das jetzt allerdings zu Ende ist. Scham fühlt sie in einem Maße, wie sie vielleicht unsere Frauen niemals sonst fühlen, erst jetzt merkt sie eigentlich, dass sie sich zu einer fremden Aushebung gedrängt hat, und wenn der Soldat das Verzeichnis vorgelesen hat, ihr Name nicht vorkam und einen Augenblick Stille ist, flüchtet sie zitternd und gebückt aus der Tür und bekommt noch einen Faustschlag des Soldaten in den Rücken.

Ist es ein Mann, der überzählig ist, so will er nichts anderes, als eben, obwohl er nicht in dieses Haus gehört, doch mit ausgehoben werden. Auch das ist ja völlig aussichtslos, niemals ist ein solcher Überzähliger ausgehoben worden und niemals wird etwas Derartiges geschehn.)

22. DIE PRUFUNG

Ich bin ein Diener, aber es ist keine Arbeit für mich da. Ich bin angstlich und dränge mich nicht vor, ja ich dränge mich nicht einmal in eine Reihe mit den andern, aber das ist nur die eine Ursache meines Nichtbeschäftigtseins, es ist auch möglich, dass es mit meinem Nichtbeschäftigtsein überhaupt nichts zu tun hat, die Hauptsache ist jedenfalls, dass ich nicht zum Dienst gerufen werde, andere sind gerufen worden und haben sich nicht mehr darum beworben als ich, ja haben vielleicht nicht einmal den Wunsch gehabt, gerufen zu werden, während ich ihn wenigstens manchmal sehr stark habe.

So liege ich also auf der Pritsche in der Gesindestube, schaue zu den Balken auf der Decke hinauf, schlafe ein, wache auf und schlafe schon wieder ein. Manchmal gehe ich hinüber ins Wirtshaus, wo ein saures Bier ausgeschenkt wird, manchmal habe ich schon vor Widerwillen ein Glas davon ausgeschüttet, dann aber trinke ich es wieder. Ich sitze gern dort, weil ich hinter dem geschlossenen kleinen Fenster, ohne von irgendjemandem entdeckt werden zu können, zu den Fenstern unseres Hauses hinübersehen kann. Man sieht ja dort nicht viel, hier gegen die Straße zu liegen, glaube ich, nur die Fenster der Korridore und überdies nicht jener Korridore, die zu den Wohnungen der Herrschaft führen. Es ist möglich, dass ich mich aber auch irre, irgendjemand hat es einmal, ohne dass ich ihn gefragt hatte, behauptet und der allgemeine Eindruck dieser Hausfront bestätigt das. Selten nur werden die Fenster geöffnet, und wenn es geschieht, tut es ein Diener und lehnt sich dann wohl auch an die Brustung, um ein Weilchen hinunterzusehn. Es sind also Korridore, wo er nicht überrascht werden kann. Übrigens kenne ich diese Diener nicht, die ständig oben beschäftigten Diener schlafen anderswo, nicht in meiner Stube.

Einmal, als ich ins Wirtshaus kam, saß auf meinem Beobachtungsplatz schon ein Gast. Ich wagte nicht genau hinzusehn und wollte mich gleich in der Tür wieder umdrehn und weggeh'n. Aber der Gast rief mich zu sich, und es zeigte sich, dass er auch ein Diener war, den ich schon einmal irgendwo gesehn hatte, ohne aber bisher mit ihm gesprochen zu haben.

»Warum willst du fortlaufen? Setz dich her und trink! Ich zahl's.« So setzte ich mich also. Er fragte mich einiges, aber ich konnte es nicht beantworten, ja ich verstand nicht einmal die Fragen. Ich sagte deshalb: »Vielleicht reut es dich jetzt, dass du mich eingeladen hast, dann gehe ich«, und ich wollte schon aufstehn. Aber er langte mit seiner Hand über den Tisch herüber und druckte mich nieder: »Bleib«, sagte er, »das war ja nur eine Prüfung. Wer die Fragen nicht beantwortet, hat die Prüfung bestanden.«

23. DER GEIER

Es war ein Geier, der hackte in meine Fu?e. Stiefel und Strumpfe hatte er schon aufgerissen, nun hackte er schon in die Fu?e selbst. Immer schlug er zu, flog dann unruhig mehrmals um mich und setzte dann die Arbeit fort. Es kam ein Herr voruber, sah ein Weilchen zu und fragte dann, warum ich den Geier dulde. »Ich bin ja wehrlos«, sagte ich, »er kam und fing zu hacken an, da wollte ich ihn nat?rlich wegtreiben, versuchte ihn sogar zu wurgen, aber ein solches Tier hat gro?e Kr?fte, auch wollte er mir schon ins Gesicht springen, da opferte ich lieber die Fu?e. Nun sind sie schon fast zerrissen.« »Da? Sie sich so qualen lassen«, sagte der Herr, »ein Schu? und der Geier ist erledigt.« »Ist das so?« fragte ich, »und wollen Sie das besorgen?« »Gern«, sagte der Herr, »ich mu? nur nach Hause gehn und mein Gewehr holen. Konnen Sie noch eine halbe Stunde warten?« »Das wei? ich nicht«, sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz, dann sagte ich: »Bitte, versuchen Sie es f?r jeden Fall.« »Gut«, sagte der Herr, »ich werde mich beeilen.« Der Geier hatte w?hrend des Gespr?ches ruhig zugeh?rt und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, da? er alles verstanden hatte, er flog auf, weit beugte er sich zur?ck, um genug Schwung zu bekommen und stie? dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zur?ckfallend f?hlte ich befreit, wie er in meinem alle Tiefen fullenden, alle Ufer ?berflie?enden Blut unrettbar ertrank.

24. DER STEUERMANN

»Bin ich nicht Steuermann?« rief ich. »du?« fragte ein dunkler hoch gewachsener Mann und strich sich mit der Hand über die Augen, als verscheuche er einen Traum. Ich war am Steuer gestanden in der dunklen Nacht, die schwachbrennende Laterne über meinem Kopf, und nun war dieser Mann gekommen und wollte mich beiseiteschieben. Und da ich nicht wich, setzte er mir den Fuß auf die Brust und trat mich langsam nieder, während ich noch immer an den Staben des Steuerrades hing und beim Niederfallen es ganz herumriss. Da aber fasste es der Mann, brachte es in Ordnung, mich aber stieß er weg. Doch ich besann mich bald, lief zu der Luke, die in den Mannschaftsraum führte und rief: »Mannschaft! Kameraden! Kommt schnell! Ein Fremder hat mich vom Steuer vertrieben!« Langsam kamen sie, stiegen auf aus der Schiffstreppe, schwankende müde mächtige Gestalten. »Bin ich der Steuermann?« fragte ich. Sie nickten, aber Blicke hatten sie nur für den Fremden, im Halbkreis standen sie um ihn herum und, als er befehlend sagte: »Stört mich nicht«, sammelten sie sich, nickten mir zu und zogen wieder die Schiffstreppe hinab. Was ist das für Volk! Denken sie auch oder schlurfen sie nur sinnlos über die Erde?

25. DER KREISEL

Ein Philosoph trieb sich immer dort herum, wo Kinder spielten. Und sah er einen Jungen, der einen Kreisel hatte, so lauerte er schon. Kaum war der Kreisel in Drehung, verfolgte ihn der Philosoph, um ihn zu fangen. Dass die Kinder larmten und ihn von ihrem Spielzeug abzuhalten suchten, kummerte ihn nicht, hatte er den Kreisel, solange er sich noch drehte, gefangen, war er glücklich, aber nur einen Augenblick, dann warf er ihn zu Boden und ging fort. Er glaubte nämlich, die Erkenntnis jeder Kleinigkeit, also zum Beispiel auch eines sich drehenden Kreisels, genüge zur Erkenntnis des Allgemeinen. Darum beschäftigte er sich nicht mit den großen Problemen, das schien ihm unökonomisch. War die kleinste Kleinigkeit wirklich erkannt, dann war alles erkannt, deshalb beschäftigte er sich nur mit dem sich drehenden Kreisel. Und immer wenn die Vorbereitungen zum Drehen des Kreisels gemacht wurden, hatte er Hoffnung, nun werde es gelingen, und drehte sich der Kreisel, wurde ihm im atemlosen Laufen nach ihm die Hoffnung zur Gewissheit, hielt er aber dann das dumme Holzstück in der Hand, wurde ihm übel und das Geschrei der Kinder, das er bisher nicht gehört hatte und das ihm jetzt plötzlich in die Ohren fuhr, jagte ihn fort, er taumelte wie ein Kreisel unter einer ungeschickten Peitsche.

26. KLEINE FABEL

»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, da? ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, da? ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, da? ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du mu?t nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fra? sie.

27. DER AUFBRUCH

Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne horte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeutete. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: »Wohin reitet der Herr?« »Ich wei? es nicht«, sagte ich, »nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.« »Du kennst also dein Ziel«, fragte er. »Ja«, antwortete ich, »ich sagte es doch: ›Weg-von-hier‹ – das ist mein Ziel.« »Du hast keinen E?vorrat mit«, sagte er. »Ich brauche keinen«, sagte ich, »die Reise ist so lang, da? ich verhungern mu?, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein E?vorrat kann mich retten. Es ist ja zum Gluck eine wahrhaft ungeheure Reise.«

28. FURSPRECHER

Es war sehr unsicher, ob ich Fursprecher hatte, ich konnte nichts Genaues daruber erfahren, alle Gesichter waren abweisend, die meisten Leute, die mir entgegenkamen, und die ich wieder und wieder auf den Gangen traf, sahen wie alte dicke Frauen aus, sie hatten gro?e, den ganzen Korper bedeckende, dunkelblau und wei? gestreifte Schurzen, strichen sich den Bauch und drehten sich schwerfallig hin und her. Ich konnte nicht einmal erfahren, ob wir in einem Gerichtsgebäude waren. Manches sprach dafur, vieles dagegen. Über alle Einzelheiten hinweg erinnerte mich am meisten an ein Gericht ein Drohnen, das unaufhorlich aus der Ferne zu horen war, man konnte nicht sagen, aus welcher Richtung es kam, es erfullte so sehr alle Raume, da? man annehmen konnte, es komme von uberall oder, was noch richtiger schien, gerade der Ort, wo man zufällig stand, sei der eigentliche Ort dieses Drohnens, aber gewi? war das eine Tauschung, denn es kam aus der Ferne. Diese Gänge, schmal, einfach uberwolbt, in langsamen Wendungen gefuhrt, mit sparsam geschmuckten hohen Turen, schienen sogar fur tiefe Stille geschaffen, es waren die Gänge eines Museums oder einer Bibliothek. Wenn es aber kein Gericht war, warum forschte ich dann hier nach einem Fursprecher? Weil ich uberall einen Fursprecher suchte, uberall ist er nötig, ja man braucht ihn weniger bei Gericht als anderswo, denn das Gericht spricht sein Urteil nach dem Gesetz, sollte man annehmen. Sollte man annehmen, da? es hiebei ungerecht oder leichtfertig vorgehe, ware ja kein Leben möglich, man mu? zum Gericht das Zutrauen haben, da? es der Majestat des Gesetzes freien Raum gibt, denn das ist seine einzige Aufgabe, im Gesetz selbst aber ist alles Anklage, Furspruch und Urteil, das selbständige Sicheinmischen eines Menschen hier ware Frevel. Anders aber verhalt es sich mit dem Tatbestand eines Urteils, dieser grundet sich auf Erhebungen hier und dort, bei Verwandten und Fremden, bei Freunden und Feinden, in der Familie und in der Offentlichkeit, in Stadt und Dorf, kurz uberall. Hier ist es dringend nötig, Fursprecher zu haben, Fursprecher in Mengen, die besten Fursprecher, einen eng neben dem andern, eine lebende Mauer, denn die Fursprecher sind ihrer Natur nach schwer beweglich, die Anklager aber, diese schlaun Fuchse, diese flinken Wiesel, diese unsichtbaren Mauschen, schlupfen durch die kleinsten Lucken, huschen zwischen den Beinen der Fursprecher durch. Also Achtung! Deshalb bin ich ja hier, ich sammle Fursprecher. Aber ich habe noch keinen gefunden, nur die alten Frauen kommen und gehn, immer wieder; ware ich nicht auf der Suche, es wurde mich einschlafern. Ich bin nicht am richtigen Ort, leider kann ich mich dem Eindruck nicht verschlie?en, da? ich nicht am richtigen Ort bin. Ich mu?te an einem Ort sein, wo vielerlei Menschen zusammenkommen, aus verschiedenen Gegenden, aus allen Ständen, aus allen Berufen, verschiedenen Alters, ich mu?te die Möglichkeit haben, die Tauglichen, die Freundlichen, die, welche einen Blick fur mich haben, vorsichtig auszuwahlen aus einer Menge. Am besten ware dazu vielleicht ein gro?er Jahrmarkt geeignet. Statt dessen treibe ich mich auf diesen Gangen umher, wo nur diese alten Frauen zu sehn sind, und auch von ihnen nicht viele, und immerfort die gleichen und selbst diese wenigen, trotz ihrer Langsamkeit, lassen sich von mir nicht stellen, entgleiten mir, schweben wie Regenwolken, sind von unbekanntem Beschäftigungen ganz in Anspruch genommen. Warum eile ich denn blindlings in ein Haus, lese nicht die Aufschrift über dem Tor, bin gleich auf den Gangen, setze mich hier mit solcher Verbohrtheit fest, da? ich mich gar nicht erinnern kann, jemals vor dem Haus gewesen, jemals die Treppen hinaufgelaufen zu sein. Zurück aber darf ich nicht, diese Zeitversamnis, dieses Eingestehn eines Irrwegs ware mir unertraglich. Wie? In diesem kurzen, eiligen, von einem ungeduldigen Drohnen begleiteten Leben eine Treppe hinunterlaufen? Das ist unmöglich. Die dir zugemessene Zeit ist so kurz, da? du, wenn du eine Sekunde verlierst, schon dein ganzes Leben verloren hast, denn es ist nicht langer, es ist immer nur so lang, wie die Zeit, die du verlierst. Hast du also einen Weg begonnen, setze ihn fort, unter allen Umständen, du kannst nur gewinnen, du lauffst keine Gefahr, vielleicht wirst du am Ende abstürzen, hattest du aber schon nach den ersten Schritten dich zurückgewendet und warest die Treppe hinuntergelaufen, warst du gleich am Anfang abgestürzt und nicht vielleicht, sondern ganz gewi?. Findest du also nichts hier auf den Gangen, offne die Turen, findest du nichts hinter diesen Turen, gibt es neue Stockwerke, findest du oben nichts, es ist keine Not, schwinde dich neue Treppen hinauf. Solange du nicht zu steigen aufhorst, horen die Stufen nicht auf, unter deinen steigenden Fu?en wachsen sie aufwärts.

29. DAS Ehepaar

Die allgemeine Geschäftslage ist so schlecht, daß ich manchmal, wenn ich im Büro Zeit erubrigte, selbst die Mustertasche nehme, um die Kunden persönlich zu besuchen. Unter anderem hatte ich mir schon längst vorgenommen, einmal zu N. zu gehen, mit dem ich früher in standiger Geschäftsverbindung gewesen bin, die sich aber im letzten Jahr aus mir unbekanntem Grund fast gelöst hat. Für solche Störungen müssen auch gar nicht eigentliche Gründe vorhanden sein; in den heutigen labilen Verhältnissen entscheidet hier oft ein Nichts, eine Stimmung, und ebenso kann auch ein Nichts, ein Wort, das Ganze wieder in Ordnung bringen. Es ist aber ein wenig umständlich zu N. vorzudringen; er ist ein alter Mann, in letzter Zeit sehr kranklich, und wenn er auch noch die geschäftlichen Angelegenheiten in seiner Hand zusammenhält, so kommt er doch selbst kaum mehr ins Geschäft; will man mit ihm sprechen, muß man in seine Wohnung gehen, und einen derartigen Geschäftsgang schiebt man gern hinaus.

Gestern Abend nach sechs Uhr machte ich mich aber doch auf den Weg; es war freilich keine Besuchszeit mehr, aber die Sache war ja nicht gesellschaftlich, sondern kaufmännisch zu beurteilen. Ich hatte Glück. N. war zu Hause; er war eben, wie man mir im Vorzimmer sagte, mit seiner Frau von einem Spaziergang zurückgekommen und jetzt im Zimmer seines Sohnes, der unwohl war und im Bett lag. Ich wurde aufgefordert auch hinzugehen; zuerst zogerte ich, dann aber überwog das Verlangen, den leidigen Besuch möglichst schnell zu beenden, und ich ließ mich, so wie ich war, im Mantel, Hut und Mustertasche in der Hand, durch ein dunkles Zimmer in ein matt beleuchtetes führen, in welchem eine kleine Gesellschaft beisammen war.

Wohl instinktmäßig fiel mein Blick zuerst auf einen mir nur allzu gut bekannten Geschäftsagenten, der zum Teil mein Konkurrent ist. So hatte er sich denn also noch vor mir heraufgeschlichen. Er war bequem knapp beim Bett des Kranken, so als wäre er der Arzt; in seinem schonen, offenen, aufgebauschtem Mantel saß er großmächtig da; seine Frechheit ist unübertrefflich; etwas Ähnliches mochte auch der Kranke denken, der mit ein wenig fiebergeröteten Wangen dalag und manchmal nach ihm hinsah. Er ist übrigens nicht mehr jung, der Sohn, ein Mann in meinem Alter mit einem kurzen, infolge der Krankheit etwas verwilderten Vollbart. Der alte N., ein großer, breitschultriger Mann, aber durch sein schleichendes Leiden zu meinem Erstaunen recht abgemagert, gebückt und unsicher geworden, stand noch, so wie er eben gekommen war, in seinem Pelz da und murmelte etwas gegen den Sohn hin. Seine Frau, klein und gebrechlich, aber außerdem lebhaft, wenn auch nur soweit es ihn betraf — uns andere sah sie kaum —, war damit beschäftigt, ihm den Pelz auszuziehen, was infolge des Größenunterschiedes der beiden einige Schwierigkeiten machte, aber schließlich doch gelang. Vielleicht lag übrigens die eigentliche Schwierigkeit darin, daß N. sehr ungeduldig war und unruhig mit tastenden Händen immerfort nach dem Lehnstuhl verlangte, den ihm denn auch, nachdem der Pelz ausgezogen war, seine Frau schnell zuschob. Sie selbst nahm den Pelz, unter dem sie fast verschwand, und trug ihn hinaus.

Nun schien mir endlich meine Zeit gekommen oder vielmehr, sie war nicht gekommen und würde hier wohl auch niemals kommen; wenn ich überhaupt noch, etwas versuchen wollte, mußte es gleich geschehen, denn meinem Gefühl nach konnten hier die Voraussetzungen für eine geschäftliche Aussprache nur noch immer schlechter werden; mich hier aber für alle Zeiten festzusetzen, wie es der Agent scheinbar beabsichtigte, das war nicht meine Art; übrigens wollte ich auf ihn nicht die geringste Rücksicht nehmen. So begann ich denn kurzerhand, meine Sache vorzutragen, obwohl ich merkte, daß N. gerade Lust hatte, sich ein wenig mit seinem Sohn zu unterhalten. Leider habe ich die Gewohnheit, wenn ich mich ein wenig in Erregung gesprochen habe — und das geschieht sehr bald und geschah in diesem Krankenzimmer noch früher als sonst — aufzustehen und während des Redens auf- und abzugehen. Im eigenen Büro eine recht gute Einrichtung, ist es in einer fremden Wohnung doch ein wenig lastig. Ich konnte mich aber nicht beherrschen, besonders da mir die gewohnte Zigarette fehlte. Nun, jeder hat seine schlechten Gewohnheiten, dabei lobe ich noch die meinen im Vergleich zu denen des Agenten. Was soll man zum Beispiel dazu sagen, daß er seinen Hut, den er auf dem Knie hält und dort langsam hin- und herschiebt, manchmal plötzlich, ganz unerwartet aufsetzt; er nimmt ihn zwar gleich wieder ab, als sei ein Versehen geschehen, hat ihn aber doch einen Augenblick lang auf dem Kopf gehabt, und das wiederholt er immer wieder von Zeit zu Zeit. Eine solche Aufführung ist doch wahrhaftig unerlaubt zu nennen. Mich stört es nicht, ich gehe auf und ab, bin ganz von meinen Dingen in Anspruch genommen und sehe über ihn hinweg, es mag aber Leute geben, welche dieses Hutkunststück ganzlich aus der Fassung bringen kann. Allerdings beachte ich im Eifer nicht nur eine solche Störung nicht, sondern überhaupt niemanden, ich sehe zwar, was vorgeht, nehme es aber, solange ich nicht fertig bin oder solange ich nicht geradezu Einwände höre, gewissermaßen nicht zur Kenntnis. So merkte ich zum Beispiel wohl, daß N. sehr wenig aufnahmefähig war; die Hände an den Seitenlehnen, drehte er sich unbehaglich hin und her, blickte nicht zu mir auf, sondern sinnlos suchend ins Leere und sein Gesicht schien so unbeteiligt, als dränge kein Laut meiner Rede, ja nicht einmal ein Gefühl meiner Anwesenheit zu ihm. Dieses ganze, mir wenig Hoffnung gebende krankhafte Benehmen sah ich zwar, sprach aber trotzdem weiter, so als hätte ich doch noch Aussicht, durch meine Worte, durch meine vorteilhaften Angebote — ich erschrak selbst über die Zugeständnisse, die ich machte, Zugeständnisse, die niemand verlangte — alles schließlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Eine gewisse Genugtuung gab es mir auch, daß der Agent, wie ich flüchtig bemerkte, endlich seinen Hut ruhen ließ und die Arme über der Brust verschränkte; meine Ausführungen, die ja zum Teil für ihn berechnet waren, schienen seinen Planen einen empfindlichen Stich zu geben. Und ich hatte in dem dadurch erzeugten Wohlfühlgefühl vielleicht noch lange fortgesprochen, wenn nicht der Sohn, den ich als für mich nebensächliche Person bisher vernachlässigt hatte, plötzlich sich im Bette halb erhoben und mit drohender Faust mich zum Schweigen gebracht hatte. Er wollte offenbar noch etwas sagen, etwas zeigen, hatte aber nicht Kraft genug. Ich hielt das alles zuerst für Fieberwahn, aber als ich unwillkürlich gleich darauf nach dem alten N. hinblickte, verstand ich es besser.

N. saß mit offenen, glasigen, aufgequollenen, nur für die Minute noch dienstbaren Augen da, zitternd nach vorne geneigt, als hielte oder schlug er jemand im Nacken, die Unterlippe, ja der Unterkiefer selbst mit weit entblößtem Zahnfleisch hing unbeherrscht hinab, das ganze Gesicht war aus den Fugen; noch atmete er, wenn auch schwer, dann aber wie befreit fiel er zurück gegen die Lehne, schloß die Augen, der Ausdruck irgendeiner großen Anstrengung fuhr noch über sein Gesicht und dann war es zu Ende. Schnell sprang ich zu ihm, faßte die leblos hangende, kalte, mich durchschauende Hand; da war kein Puls mehr. Nun also, es war vorüber. Freilich, ein alter Mann. Möchte uns das Sterben nicht schwerer werden. Aber wie Vieles war jetzt zu tun! Und was in der Eile zunächst? Ich sah mich nach Hilfe um; aber der Sohn hatte die Decke über den Kopf gezogen, man hörte sein endloses Schluchzen; der Agent, kalt wie ein Frosch, saß fest in seinem Sessel, zwei Schritte gegenüber N. und war sichtlich entschlossen, nichts zu tun, als den Zeitlauf abzuwarten; ich also, nur ich blieb übrig, um etwas zu tun und jetzt gleich das Schwerste, nämlich der Frau irgendwie auf eine ertragliche Art, also eine Art, die es in der Welt nicht gab, die Nachricht zu vermitteln. Und schon hörte ich die eifrigen, schlurfenden Schritte aus dem Nebenzimmer.

Sie brachte — noch immer im Straßenanzug, sie hatte noch keine Zeit gehabt, sich umzuziehen — ein auf dem Ofen durchwärmtes Nachthemd, das sie ihrem Mann jetzt anziehen wollte. »Er ist eingeschlafen«, sagte sie lachend und kopfschüttelnd, als sie uns so still fand. Und mit dem

unendlichen Vertrauen des Unschuldigen nahm sie die gleiche Hand, die ich eben mit Widerwillen und Scheu in der meinen gehalten hatte, küßte sie wie in kleinem ehelichen Spiel und — wie mögen wir drei anderen zugesehen haben! — N. bewegte sich, gähnte laut, ließ sich das Hemd anziehen, duldete mit argerlich-ironischem Gesicht die zärtlichen Vorwürfe seiner Frau wegen der Überanstrengung auf dem allzu großen Spaziergang und sagte dagegen, uns sein Einschlafen anders zu erklären, merkwürdigerweise etwas von Langweile. Dann legte er sich, um sich auf dem Weg in ein anderes Zimmer nicht zu verkühlen, vorläufig zu seinem Sohn ins Bett; neben die Füße des Sohnes wurde auf zwei von der Frau eilig herbeigebrachten Polstern sein Kopf gebettet. Ich fand nach dem Vorangegangenen nichts Sonderbares mehr daran. Nun verlangte er die Abendzeitung, nahm sie ohne Rücksicht auf die Gäste vor, las aber noch nicht, sah nur hie und da ins Blatt und sagte uns dabei mit einem erstaunlichen geschäftlichen Scharfblick einiges recht Unangenehme über unsere Angebote, während er mit der freien Hand immerfort wegwerfende Bewegungen machte und durch Zungenschnalzen den schlechten Geschmack im Munde andeutete, den ihm unser geschäftliches Gebaren verursachte. Der Agent konnte sich nicht enthalten, einige unpassende Bemerkungen vorzubringen, er fühlte wohl sogar in seinem groben Sinn, daß hier nach dem, was geschehen war, irgendein Ausgleich geschaffen werden mußte, aber auf seine Art ging es freilich am allerwenigsten. Ich verabschiedete mich nun schnell, ich war dem Agenten fast dankbar; ohne seine Anwesenheit hatte ich nicht die Entschlußkraft gehabt, schon fortzugehen.

Im Vorzimmer traf ich noch Frau N. Im Anblick ihrer armseligen Gestalt sagte ich aus meinen Gedanken heraus, daß sie mich ein wenig an meine Mutter erinnere. Und da sie still blieb, fugte ich bei: »Was man dazu auch sagen mag: die konnte Wunder tun. Was wir schon zerstört hatten, machte sie noch gut. Ich habe sie schon in der Kinderzeit verloren.« Ich hatte absichtlich übertrieben langsam und deutlich gesprochen, denn ich vermutete, daß die alte Frau schwerhörig war. Aber sie war wohl taub, denn sie fragte ohne Übergang: »Und das Aussehen meines Mannes?« Aus ein paar Abschiedsworten merkte ich übrigens, daß sie mich mit dem Agenten verwechselte; ich wollte gern glauben, daß sie sonst zutraulicher gewesen wäre. Dann ging ich die Treppe hinunter. Der Abstieg war schwerer als früher der Aufstieg und nicht einmal dieser war leicht gewesen. Ach, was für mißlungene Geschäftswege es gibt und man muß die Last weiter tragen.

30. GIBS AUF!

Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, daß es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nahe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lachte und sagte: »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gibs auf, gib's auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.

31. VON DEN GLEICHNISSEN

Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im taglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. Wenn der Weise sagt: »Gehe hinüber«, so meint er nicht, daß man auf die andere Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten konnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Druhen, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmuhen, sind andere Dinge.

Darauf sagte einer: »Warum wehrt ihr euch? Wurdet ihr den Gleichnissen folgen, dann waret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der taglichen Muhe frei.«

Ein anderer sagte: »Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.«

Der erste sagte: »Du hast gewonnen.«

Der zweite sagte: »Aber leider nur im Gleichnis.«

Der erste sagte: »Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.«